This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

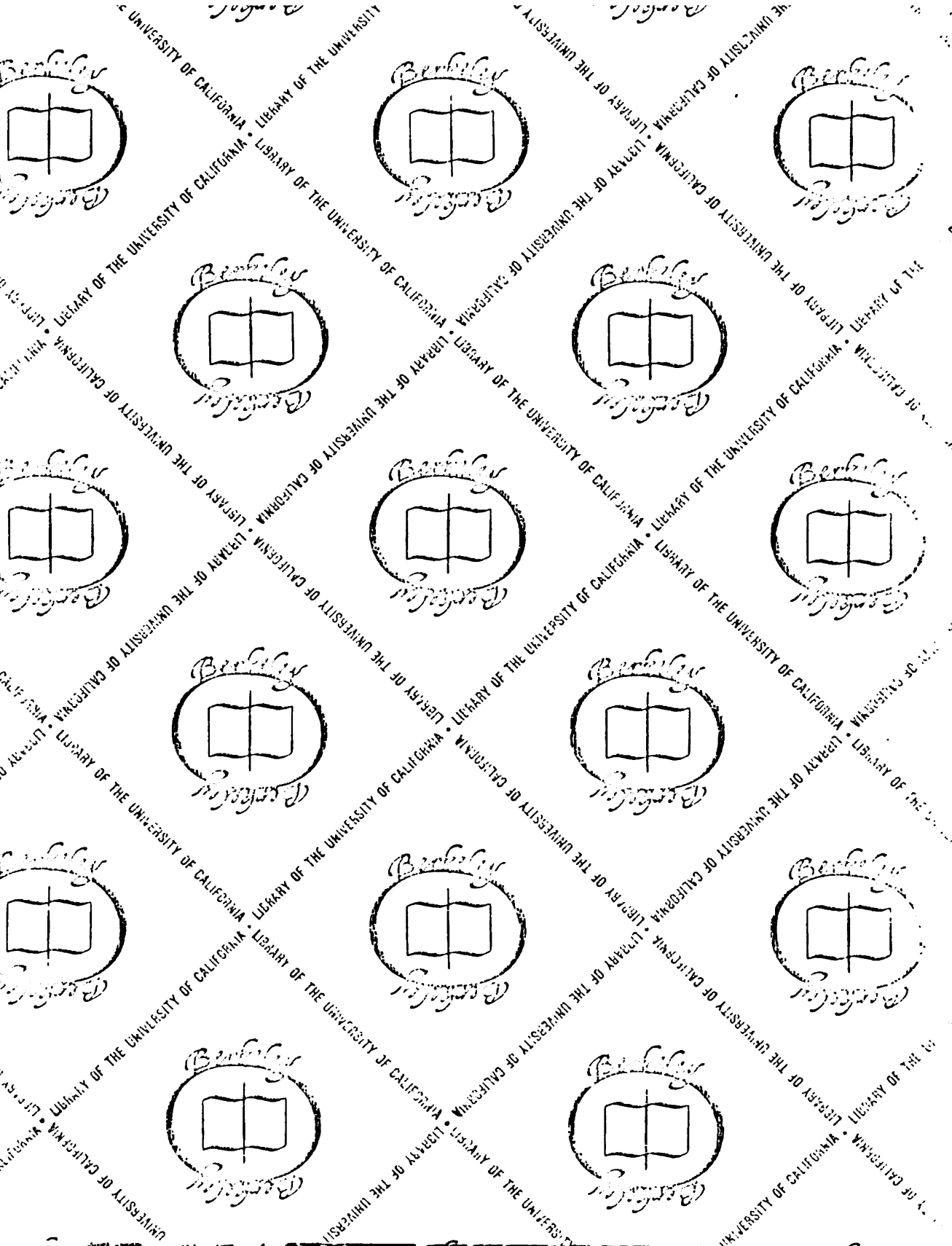
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

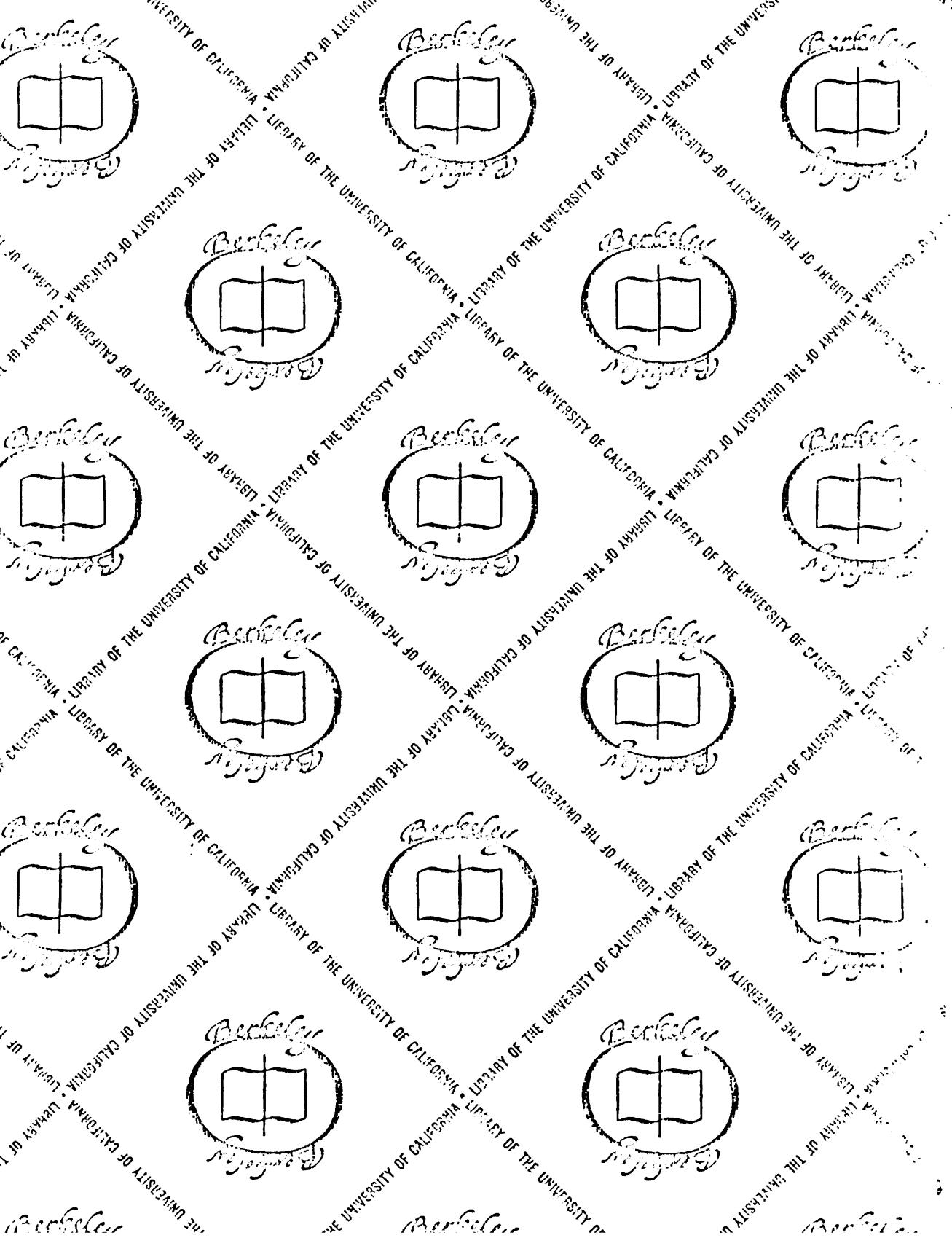
О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
B 3 463 828

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA


LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA


Berkeley
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Berkeley
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

~~BORIS NICOLAEVICH~~

КУБОКЪ МЕТЕЛЕЙ

Bely, Andrey, 1880-1934,
Biely

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ

Kubok metelej

КУБОКЪ МЕТЕЛЕЙ

ЧЕТВЕРТАЯ СИМФОНІЯ

UNIV. OF
CALIFORNIA

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «СКОРПІОНЪ»
МОСКВА MCMVIII

Printed in S.[illegible] Calif. in 1908 ?

7247-8184

РИСУНОКЪ ОБЛОЖКИ РАБОТЫ И. ФЕДОТОВА.

ТИПОГРАФІЯ О-ВА РАСПР. ПОЛЕЗН. КНИГЪ, ПРЕЕМНИКЪ В. И. ВОГОНОВЪ, МОХОВАЯ, Д. № 11 ГАГАРИНА.

PG 3453
B84K8
1908a
MAIN

Replacement
836
B931
K4

СЪ ГЛУБОКИМЪ УВАЖЕНІЕМЪ

ПОСВЯЩАЕТЪ АВТОРЪ КНИГУ

НИКОЛАЮ КАРЛОВИЧУ МЕТНЕРУ

ВНУШИВШЕМУ ТЕМУ СИМФОНІИ

И

ДОРОГОМУ ДРУГУ

ЗИНАИДѢ НИКОЛАЕВНѢ ГИППІУСЪ

РАЗРѢШИВШЕЙ ЭТУ ТЕМУ

M 4668

Стукнулъ въ дверь. Отверзъ объятія.
Поцѣлуй—и вновь, и вновь.
Посмотрите, сестры, братія,
Какъ свѣтла наша любовь!

М. Кузминъ.

UNIV. OF CALIFORNIA

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ

Оканчивая свою „Четвертую Симфонію", я нахожусь въ нѣкоторомъ недоумѣніи. Кто ее будетъ читать? Кому она нужна? Я работалъ надъ ней долго, я старался по возможности точнѣе обрисовать нѣкоторыя переживанія, подстилающія, такъ сказать, фонъ обыденной жизни и по существу невоплотимыя въ образахъ. Эти переживанія, облеченныя въ форму повторяющихся темъ, проходящихъ сквозь всю „Симфонію", представлены какъ бы въ увеличительномъ стеклѣ. Тутъ я встрѣтился съ двумя родами недоумѣній. Слѣдуетъ ли при выборѣ образа переживанію, по существу невоплотимому въ образъ, руководствоваться красотой самаго образа или точностью его (т. е., чтобы образъ вмѣщалъ возможный максимумъ переживанія)? Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ совмѣстить внутреннюю связь невоплотимыхъ въ образъ переживаній (я бы сказалъ мистическихъ) со связью образовъ? Передо мною обозначилось два пути: путь искусства и путь анализа самихъ переживаній, разложенія ихъ на составныя части. Я избралъ второй путь, и потому то недоумѣваю,—есть ли предлагаемая „Симфонія" художественное произведеніе или документъ состоянія сознанія современной души, быть можетъ, любопытный для будущаго психолога? Это касается субстанціи самой „Симфоніи".

Что же касается способа письма, то и здѣсь я недоумѣваю. Меня интересовалъ конструктивный механизмъ той смутно сознаваемой формы, которой были написаны предыдущія мои „Симфоніи": тамъ конструкція сама собой напрашивалась и отчетливаго представленія о томъ, чѣмъ должна быть „Симфо-

нія" въ литературѣ, у меня не было. Въ предлагаемой „Симфоніи" я болѣе всего старался быть точнымъ въ экспозиціи темъ, въ ихъ контрапунктѣ, соединеніи и т. д. Въ моей „Симфоніи", собственно, двѣ группы темъ: первую группу составляютъ темы I-ой части; всѣ онѣ, отличаясь другъ отъ друга построеніемъ фразъ, имѣютъ, однако, внутреннее родство. Вторую группу темъ образуютъ темы II части, которыя по конструкціи въ сущности составляютъ одну тему, изложенную въ главѣ „Зацвѣтающій вѣтръ". Эта тема развивается въ трехъ направленіяхъ. Одно ея направленіе (тема „a", какъ я ее привыкъ называть) болѣе отчетливо выражено въ главѣ II части „Въ монастырѣ"; другое (тема „b") въ главѣ части „Пѣна колосистая"; третье (тема „c") въ главѣ „Золотая осень". Эти три темы II-й части—a, b, c—вступая въ соприкосновеніе съ темами I-й части, и образуютъ, такъ сказать, ткань всей „Симфоніи". Въ III и IV частяхъ я старался выводить конструкцію фразъ и образовъ такъ, чтобы форма и образъ были предопредѣлены тематическимъ развитіемъ и, поскольку это возможно, подчинять образъ механическому развитію темъ. Я сознавалъ, что точность структуры, во-первыхъ, подчиняетъ фабулу техникѣ (часто приходилось удлинять „Симфонію" исключительно ради структурнаго интереса), и что красота образа не всегда совпадаетъ съ закономѣрностью его структурной формы. Вотъ почему и на „Симфонію" свою я смотрѣлъ во время работы лишь какъ на структурную задачу. Я до сихъ поръ не знаю, имѣетъ ли она право на существованіе. Но я вообще не знаю, имѣютъ ли эти права большинство произведеній современной литературы. Я старался быть скорѣе изслѣдователемъ, чѣмъ художникомъ. Только объективная оцѣнка будущаго рѣшитъ, имѣютъ ли смыслъ мои структурныя вычисленія, или они—парадоксъ. Но въ такомъ же положеніи находятся и труженики чистаго знанія: будущее рѣшаетъ, возможно ли техническое приложеніе изъ ихъ трудовъ. Я бы могъ для отчетности привести здѣсь структурную схему всѣхъ главъ, но кому это сейчасъ интересно? Для примѣра скажу только, что глава III части „Слезы росныя" составлена по слѣдующей схемѣ. Если

мы назовемъ отрывки главы II части „Золотой осени", исключая перваго, α, β, γ, δ, ε и т. д. и будемъ помнить, что: 1) основныя темы II-й части a, b, c, 2) одна изъ темъ первой части есть „ϱ", то общая конструкція главы приметъ видъ: $\alpha\,\varrho\,\beta\,\gamma\,\delta$ и т. д. Читатель пойметъ, въ чемъ дѣло. Такъ же написано и все прочее.

Наконецъ, еще одна трудность для полнаго пониманія „Симфоніи". Смыслъ символовъ ея становится прозрачнѣй отъ пониманія структуры ея. Для того, чтобы вполнѣ разсмотрѣть переживаніе, сквозящее въ любомъ образѣ, надо понимать, въ какой темѣ этотъ образъ проходитъ, сколько разъ уже повторялась тема образа и какіе образы ее сопровождали. И если при поверхностномъ чтеніи смыслъ переживанія передается съ точностью до $^1/_2$, то при соблюденіи всего сказаннаго со стороны читателя смыслъ переживанія уясняется съ точностью до 0,01.

Отсюда слѣдуетъ одно печальное для меня заключеніе: я могу рекомендовать изучить мою „Симфонію" (сначала прочесть, потомъ разсмотрѣть структуру, прочесть еще и еще). Но какое право имѣю я на то, чтобы меня изучали, когда я и самъ не знаю, парадоксъ или не парадоксъ вся моя „Симфонія"? Безъ внимательнаго отношенія къ моимъ пріемамъ письма „Симфонія" покажется скучной, растянутой, написанной ради красочныхъ тоновъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ ея сценъ.

Въ заключеніе скажу о задачѣ фабулы, хотя она и тѣсно связана съ техникой письма. Въ предлагаемой „Симфоніи" я хотѣлъ изобразить всю гамму той особаго рода любви, которую смутно предощущаетъ наша эпоха, какъ предощущали ее и раньше Платонъ, Гете, Данте,—священной любви. Если и возможно въ будущемъ новое религіозное сознаніе, то путь къ нему—только черезъ любовь. Я долженъ оговориться, что не имѣю ничего общаго съ современными пророками эротизма, стирающими черту не только между мистикой и психопатологіей, не только вносящіе въ мистику порнографію, но и придающіе эзотеризму смутныхъ религіозныхъ переживаній оттѣнокъ рекламы и шарлатанства. Долженъ оговориться, что пока я не

вижу достовѣрныхъ путей реализаціи этого смутнаго зова отъ любви къ религіи любви. Вотъ почему мнѣ хотѣлось изобразить обѣтованную землю этой любви изъ метели, золота, неба и вѣтра. Тема метелей—это смутно зовущій порывъ... куда? Къ жизни или смерти? Къ безумію или мудрости? И души любящихъ растворяются въ метели.

Тема метелей возникла у меня давно—еще въ 1903 году. Тогда же написаны нѣкоторые (впослѣдствіи переработанные) отрывки. Первыя двѣ части въ первоначальной редакціи были готовы уже въ 1904 году (впослѣдствіи я ихъ переработалъ); тогда же основной лейтъ-мотивъ метели былъ мною точно опредѣленъ. Эти отрывки я и читалъ нѣкоторымъ московскимъ и петербургскимъ писателямъ. Наконецъ, 1-я часть въ законченномъ видѣ была готова въ іюнѣ 1906-го года (два года я по многимъ причинамъ не могъ работать надъ „Симфоніей"); при перепискѣ я включилъ лишь нѣкоторыя сатирическія сцены—не болѣе.

Пишу все это въ виду того, что многіе могутъ меня укорять въ перепѣвѣ нѣкоторыхъ современныхъ темъ. Послѣ всего сказаннаго я отклоняю отъ себя рѣшительно этотъ возможный укоръ.

А В Т О Р Ъ.

1907 годъ, Москва.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СНѢЖНАЯ ЛАПА

Метель.

Метель выдувала съ крышъ блѣдные вихри.

Прыснули вверхъ снѣга и, какъ лиліи, закачались надъ городомъ.

Шѣвучія, ленты серебра, налетали—пролетали, обволакивали.

Сталкивались, дробясь снѣгомъ.

И снѣгъ разсыпался горстями брилліантовъ. Сотнями брызнувшихъ мошекъ, танцуя, метался, ложился у ногъ.

И мошки гасли.

Но, брызнувши свѣтомъ, онѣ опять возносились.

Снова гигантскія лиліи, занесясь, закачавшись надъ городомъ, облетали съ пургою.

Это была первая зимняя метель.

На улицѣ казались прохожіе блѣдными, странными, когда сталкивались, хватаясь за шляпы.

Знакомая тайна въ душѣ пролетала нежданно. Знакомые вопли въ дали разрывались призывно. Знакомая тайна душѣ проплывала нежданно.

Но бродили все такъ же, все такъ же...

Здѣсь прохожій мелькнетъ, тамъ прохожій кивнетъ своей мягкой шляпой.

Проходя, столкнется съ идущимъ на встрѣчу.

Все кружилось предъ нимъ блѣднымъ вихремъ—снѣжнымъ вихремъ.

И слово вѣтра становилось пурговой плотью.

Мелькали прохожіе, конки, пролетки, какъ тѣни столкнувшихся дикихъ метелей.

Единый вставалъ ликъ, метельный, желанный, — стеналъ, улыбался, склонялся.

Опять. И опять.

Манилъ все тою же тайной.

Бѣлый рукавъ поднимался вдоль стѣны. А за нимъ выросталъ ужъ другой.

Бѣлый рукавъ, сочась изъ забора, неизмѣнно выросталъ.

Лизалъ стѣны домовъ.

И ускользалъ.

Надъ домами надулись бѣлые паруса.

Съ пѣніемъ надъ домами летѣли воздушные корабли.

Бѣлокрылые летуны уносились сквозь время: на родину, на неизвѣстную родину.

Бѣлый мертвецъ вставалъ у окна. А за нимъ вставалъ у окна бѣлый мертвецъ.

Бѣлый мертвецъ, сочась съ кладбища, неизмѣнно стучалъ подъ окномъ. Распускалъ саванъ.

И бѣлый мертвецъ пролеталъ...

Городъ.

Такъ. Взошла луна.

Кто-то, знакомый, протянулъ сіяющій одуванчикъ. Кто-то знакомый все зажегъ.

Протянулъ и зажегъ.

Все затянулось пушистыми перьями блеска, и перья, ластясь, почили на стеклахъ домовъ.

Тѣнь конки, неизмѣнно выростая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Вечеръ былъ вьюжный, бодрый.

Кто-то, знакомый, сидѣлъ въ конкѣ. Пунсовый фонарь, отражаясь, дробился въ тающемъ снѣгѣ.

Отраженіе мчалось на лужахъ, на рельсахъ впереди конки; чертило камни пунсовымъ блескомъ, дробилось и пропадало.

Тѣнь конки, неизмѣнно выростая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Толпы учащихся, съ лекцій выбѣгая, дробились вдоль улицъ, бросали въ метель свои книжныя знанія, глупѣли и оснѣжались.

Тучи снѣговъ, надъ домами взлетая, дробились сотнями зашелестѣвшихъ страницъ, передъ носомъ студента мелькали и разсыпались.

Кто-то, все тотъ же, кутила и пьяница, осыпалъ руки лакея серебряными, ледяными рублями: все простуилось въ метель изъ его кошелька, и метельныя деньги блистали у фонарей.

Тѣнь жулика, неизмѣнно выростая, протягивала руку, опускала въ чужой карманъ, вынимала и ускользала.

Кто-то, все тотъ же, банкиръ и скряга, подставлялъ въ метель свой мѣшокъ: все насыпалось туда метельными рублями, серебромъ гудящими о крыши, вывѣски, фонари.

Проститутка, все такъ же нападая, тащила къ себѣ то банкира, то пьяницу, раздѣвалась, одѣвалась, опять выбѣгала въ метель.

Кто-то, все тотъ же, протянулъ надъ городомъ бѣлый сіяющій одуванчикъ: все затянулось пушистыми перьями снѣжнаго блеска, зацвѣтающими у фонарей.

И перья ласково щекотали прохожихъ подъ теплымъ воротникомъ.

Такъ.

Вѣтеръ былъ вьюжный, поющій.

Бѣлый рукавъ, неизмѣнно выростая, припадалъ къ домамъ, переламывался, удлинялся и ускользалъ; а за нимъ поднимался рукавъ, а за нимъ поднимался еще, и еще, и еще.

Всѣ рукава, хохотомъ завиваясь, падали на дома, разсыпались ярыми звѣздами, алмазили окна, и вотъ—пролетали.

И еще. И еще.

Жемчугъ въ аломъ.

Невидимый діаконъ, склонясь надъ домами, замахнулся взвизгнувшимъ вѣйнымъ кадиломъ, проливая ласку, воздушную, снѣжную.

Невидимый хоръ подпѣвалъ: «Радуйся, невѣста метелица!»

Встали бѣлые. Летали и танцовали.

Но сквозь нихъ щекотали солнечныя колосья, да голубые міры, словно опушенные серебряными рѣсницами, улыбались далекимъ пространствамъ.

Кружево иконостаса трепыхалось въ пламенькахъ восковыхъ свѣчекъ.

Златобархатный сумракъ былъ тамъ, испещренный пятнами лампадокъ.

Женщина съ огневыми волосами склонялась, и надъ ней парчевой діаконъ проливалъ ласку ладана, ароматно-лазурную.

И рой мальчиковъ прозвенѣлъ: «Радуйся, невѣста неневѣстная!»

Такъ: женщина съ огневыми кудрями склонилась: надъ ней пунсовый огонекъ лампадки знаменательно засверкалъ.

Снѣжнымъ облакомъ вуаль занавѣсила ей лицо.

Склонилась.

И вновь поднялась.

Легко-свистный шелкъ сладко запѣлъ, когда повернула къ выходу.

Вьюжное облачко занавѣсило блескъ лампадки.

И вновь развѣялось.

И пурпуровый огонекъ знаменательно засверкалъ, озаряя образъ Богородицы.

Все кружилось предъ ней блѣднымъ вихремъ—вьюгой, вьюгой.

Вспоминала: «И Слово стало Плотію».

Женщина съ золотыми волосами искала всю жизнь воплощенія—въ улыбкахъ, въ словахъ и дѣлахъ.

Единый вставалъ Ликъ, Желанный,—предъ ней улыбался, склонялся.

Опять. И опять...

Манилъ все тою же тайной.

Пробужденный хаосъ шумно возставалъ. Бѣлый столбъ возлеталъ.

И, какъ призрачный смычокъ, скользилъ вдоль телеграфныхъ проводовъ, какъ вдоль струнъ.

И струны пѣли: «Наше счастье съ нами». Вихряные рога гремѣли.

Примелькался снѣгъ, уносящійся пухомъ, пролетающій счастьемъ, какъ сонъ.

Дни летѣли.

Со днями летѣла она удивленно въ пространствахъ.

Милаго звала, все звала. А теперь вотъ ее призывалъ, призывалъ.

Вкрадчивой, тигровой улыбкой, изъ-подъ кружевной вуали, изъ-подъ черныхъ, черныхъ рѣсницъ, изъ-подъ какъ миндаль удлиненныхъ очей въ неба бархатъ темносиній взоры ея впились удивленно, сластно, томительно.

Чѣмъ жаднѣе пила призывами небо, тѣмъ быстрѣе летѣли вьюжные кони надъ городомъ, тѣмъ настойчивѣй раздавался все тотъ же топотъ, неустанно гремящій надъ крышами.

Метель раскидала надъ городомъ свои легкія, свистныя руки.

Трубы домовъ—громкія трубомъ — дымомъ трубили, призывомъ старинным и грустнымъ, и легкимъ.

Снѣжные когти метели то гладили ее, то иглами больно царапали.

Бархатно-мягкій день, заснѣженный бѣлыми пятнами, уплывалъ надъ домами.

Бархатно-мягкій закатъ, испещренный дымными тучами, потухалъ надъ домами.

Бархатная лапа.

Адамъ Петровичъ спѣшилъ по спѣшному дѣлу. Мелькали прохожіе.

Знакомые абрисы домовъ высились неизмѣнно. Говорили о томъ же, все о томъ же...

Все уйдетъ. Все пройдетъ. Уходя, столкнется съ идущимъ на встрѣчу.

Такъ кружатся вселенныя въ вѣчной смѣнѣ, все той же смѣнѣ.

Знакомые абрисы домовъ, заборы, и бѣлыя стѣны, и повороты кривыхъ улицъ—давно онъ узналъ ваши тайныя взыванія къ нему.

Бархатно-мягкій день, заснѣженный блѣдными пятнами, потухалъ надъ домами.

Роковое горе пеленало его въ своихъ яростныхъ лапахъ.

Оно пеленало тигровой багряницей, — шкурой, чуть-чуть страшной.

Точно буря рвала его сердце.

Милую не зналъ никогда онъ. А теперь его призывала метель.

Вкрадчивой, тигровой улыбкой изъ-подъ золотой, какъ горсть спѣлыхъ колосьевъ, бородки улыбался Адамъ Петровичъ, изъ-подъ темныхъ полей шляпы въ неба бархатъ синій-синій взоры его летѣли удивленно, призывно, томительно.

Бѣлые рои кружились надъ городомъ.

Смотрѣлъ: бѣлые рои съ гудѣньемъ пролетали мимо и облѣпили влагой рѣсницы.

Снѣгъ разсыпался горстями бриллiантовъ.

Сотнями брызнувшихъ мошекъ ложился у ногъ. И мошки гасли.

Высокая женщина съ огневыми волосами изъ вьюги пошла неровной, вкрадчиво-грустной походкой.

Ея видъ, какъ небо, былъ далекій, но близкій.

Очи,—нестерпимо влажные лоскутки лазури,—точно міры, опушенные черными рѣсницами, изъ далекихъ пространствъ поднялись они испытующе на него.

Онѣ подавали надежду. Говорили о невозможномъ. Посылали свою утомленную ласку, сжимавшую сердце. Чѣмъ нѣжнѣе ластились ея глаза, тѣмъ настойчивѣй, жгучей рвались изъ рукъ протянутыя пряди ея шлейфа — чернопепельныя съ алымъ отливомъ.

Чѣмъ безумнѣй онъ къ ней устремлялся, тѣмъ призывнѣй, звончѣй легкосвистныя ткани метелей, кружась, разсыпались безвластно.

Не отгадала она странныхъ мыслей его?

Почему она смотритъ такъ грустно и почти улыбается ему?

Утишаетъ грусть и точно все спрашиваетъ о чемъ-то?

Вотъ-вотъ тихо подходитъ къ нему.

Не закидала ли метель его снѣгомъ?

Почему городъ истаялъ въ легкосвистной пляскѣ разсыпчатыхъ призраковъ?

Метель утишаетъ грусть и уноситъ бѣдное сердце.

Вотъ-вотъ снѣгомъ преходитъ и міръ.

Бѣдное сердце: преходитъ міръ.

Лицо его, облакъ грусти, изорвала душа, заря—душа, заря взволнованно пропылала.

Душа выпивала старинный напитокъ, — то, чего никто не пьетъ: въ душѣ взволнованно проплывали пиры,—пиры, давно пропылавшіе, сладко томили.

Алое вино, алое, къ щекамъ приливало. Грудь разрывало одно, навѣкъ одно.

Стенающій вздохъ—облакъ снѣга—взвила пурга: снѣгъ—снѣгъ, бичуя холодомъ, просребрилъ.

Метель запѣвала старинную старину,—то, чего никто не поетъ, никто не поетъ.

Бѣлое сребро, бѣлое, къ очамъ припадало. Грудь озвѣздилась сребромъ, парчей.

Но она безотвѣтно промелькнула. Шелестъ платья пронесся, какъ летъ засыхающихъ листьевъ, какъ токъ, пролетающій въ вѣтрѣ, какъ ночи и дни.

Наклонялась. Выпрямлялась. Еще прислушивалась къ чему-то.

Странно обернулась и кивнула ему среди улицъ.

Еще. И еще.

Но чернопепельное платье, но лазурь очей, но волосъ медовое золото гасли, сливаясь оттѣнками въ одну смутную, неизъяснимую грусть.

Такъ мягко горѣлъ въ языкахъ яраго огня.

Огонь пеленалъ тигровой багряницей, чуть-чуть страшной.

Бархатно мягкій день, заснѣженный блѣдными пятнами, проплывалъ надъ домами.

Вьюга—клубокъ серебряныхъ нитокъ—накатилась: вѣтры стали разматывать.

И парчевое серебро сквозной паутиной опутало улицы и дома.

Изъ-за заборовъ всталъ рядъ снѣжный нитей и улетѣлъ въ небеса.

Раздавались призывы: «Ввы... Ввы...»

«Уввы...»

Надъ крышей вздыбился воздушный конь.

Дико проржалъ вихряной летунъ, простучалъ копытомъ гулко по желѣзу.

Прокачалась бѣлая грива, расчесанная вѣтромъ.

Надъ крышей вздыбился, проржалъ, простучалъ.

Адамъ Петровичъ возвращался.

Огненно-желтое небо раскидало надъ домами свои бархатныя, заревыя объятія.

Онъ подумалъ: «Я возвращаюсь. Не возвратится ли и она?»

Выѣхалъ экипажъ изъ-за поворота. Остановился.

Мягкій, желтый плюшъ, испещренный сѣрыми кольцами, пеленалъ ея ноги.

Во всѣхъ окнахъ, обращенныхъ къ закату, махали красными знаменами.

Это были заревые отсвѣты вѣчно странныхъ думъ.

Неизмѣнныхъ.

Это была она... нѣтъ, не она.

Надъ крышей вздыбился воздушный конь.

Дико взлетѣлъ вихряной летунъ. Прокачался въ воздухѣ.

И упалъ, разорванный вѣтромъ.

Вздыбился, взлетѣлъ, промчался, проржалъ.

На оранжевомъ платьѣ, точно шкура рыси, сидѣла зимняя кофточка.

Шляпа подносомъ тѣнила лицо.

Губы—доли багрянаго персика—змѣились тигровой улыбкой,—чуть чуть страшной.

Вышла изъ экипажа. Съ мечтательнымъ безсердечіемъ взглянула на него.

Мягкая кошка такъ бархатной лапой погладитъ: погладитъ и оцарапаетъ.

Заревые отсвѣты переползали съ окна на окно.

Вотъ безотвѣтно промелькнула.

Раздался шелестъ листьевъ, пролетающихъ, какъ пятна, какъ пятна ночей и дней: шелестъ шелковаго платья.

Повернулся. Пошелъ за ней.

Улицы сплетались въ одинъ таинственный лабиринтъ, и протяжные вопли далекихъ фабрикъ (глухое стенанье Минотавра), смущали сердце вѣщимъ предчувствіемъ.

Раздавались призывы: «Выы... Ввыы...».

«Уввыы....»

Изъ всѣхъ трубъ, обращенныхъ къ небу, трубили дымными призывами.

Это шелъ бой.

Это были снѣговыя знамена вѣчно бѣлыхъ отрядовъ,—вознесенныхъ.

Военный, пролетая мимо, распахнулъ шинель и кричалъ кому-то, махая фуражкой: «Какова метелька?».

На минуту блеснула его сѣдина, волнуемая вѣтромъ, и онъ скрылся въ снѣжномъ водоворотѣ.

У поворота они встрѣтились.

Онъ шелъ неровной походкой, задумчивый, грустно-тихій.

Она скользила съ заносчивой мягкостью.

Она спрашивала взоромъ, а онъ отвѣчалъ; она успокаивала, а онъ молчалъ.

Они подняли другъ на друга свои очи — голубые міры—и замерли, какъ бы не замѣчая другъ друга.

Потомъ онъ улыбнулся, а она безъ улыбки сдѣлала знакъ рукою, и ей подали экипажъ.

Точно двѣ встрѣчныя волны столкнулись въ бушующемъ морѣ старины.

И вновь разбѣжались.

И осталось старинное, вѣчно-грустное.

Все тоже.

Небо угасло.

Бархатно-мягкій закатъ, испещренный туманными пятнами, потухалъ надъ домами.

Надъ крышей вздыбился воздушный конь.

Пролетая въ небо, развѣялъ хвостъ и ржалъ кому-то, качая гривой.

На немъ сидѣлъ метельный всадникъ, — вѣчно-бѣлый и странный.

На минуту блеснуло его копіе; онъ скрылся въ снѣжномъ водоворотѣ.

Раздалось звенящее трепетанье: это буря рванула номеръ фонаря.

Бусы и Бисеръ.

Пришелъ въ редакцію.

Ему на встрѣчу выбѣжалъ мистическій анархистъ съ золотыми волосами, вкрадчиво раздвоенной бородкой.

Его сюртукъ, какъ бутылка, зеленый, былъ необыченъ.

Чѣмъ нѣжнѣе ластился онъ къ гостямъ, тѣмъ настойчивѣй, пытливѣй впивались глаза его, синіе, съ зеленоватымъ отливомъ.

Пурпуръ устъ, и лазурь очей, и золото волосъ сливались оттѣнками въ одну смутную неизъяснимую грусть.

Напоминалъ Христа въ изображеніи Корреджіо, — все тотъ же образъ.

Здѣсь шагалъ онъ все такъ же, все такъ же...

Все бродилъ, все говорилъ. Потрясалъ золотой, чуть раздвоенной бородкой.

Вотъ онъ безотвѣтно любилъ музыку: слушалъ прежде Вагнера; глаза зеленью горѣли, какъ хризолитъ.

Иногда прежде рыдалъ отъ вѣчно странныхъ, ускользающихъ думъ.

Неизмѣнныхъ...

Какъ во снѣ... нѣтъ, не во снѣ...

Теперь онъ сталъ бѣлобѣдный, чуть свѣтящійся, просыпающій бусы и бисеръ, вздыхающій — дерзновенный.

Въ глазахъ не сіяла зелень — незабудки.

Бралъ голосомъ гаммы, бархатныя, какъ снѣга.

Отъ непрестанныхъ исканій тайны глаза изъ-подъ льняныхъ волосъ, изъ-подъ блѣднаго лба правыхъ и виноватыхъ нѣгою чуть-чуть грустной влюбляли мягко, ловко, настойчиво.

Въ окнахъ редакціи не сверкали снѣга — хитоны.

Вьюга, словно Кузминъ, брала гаммы, бархатныя, какъ снѣга.

Отъ безутомныхъ сверканій закатныхъ «Ш а б л и», будто въ ресторанѣ «В ѣ н а», изъ-подъ кэкъуока пурги, будто бѣлой пѣны шампанскаго, страшною нѣгою румянъ зари влюбляли кого попало, страстно, настойчиво.

Рѣчами о любви, томно-желтыми бабочками, трепетавшими вокругъ устъ, — еще издали забрасывалъ перваго встрѣчнаго мистикъ-анархистъ увлеченно, быстро, яро.

Будилъ надежду. Говорилъ о невозможномъ.

Выводилъ голосомъ бархатистыя гаммы и сжималъ въ рукѣ корректуры:

«Не пробѣгаемъ ли мы огневой поясъ страсти, какъ Зигфриды? Почему древній змій оскалился на насъ? Обнажаемъ мечъ и точно все ищемъ Брунгильду».

«Вотъ-вотъ съ зарей пролетаетъ она...»

«Разсыпаетъ незабудки. Дышетъ свѣтами, дышетъ нѣжно».

«Будто въ зелени, сочится медовымъ золотомъ безвременья, и деревья, охваченныя ею, отмахиваются отъ невидимыхъ объятій и поцѣлуевъ».

«Возметаютъ ликующе зеленые орари свои, точно діаконы свѣтослуженія—упиваются, дышутъ, купаются въ ней, прогоняя полунощь».

Выскочилъ Нулковъ. Приложился ухомъ къ замочной скважинѣ, слушалъ пророчество мистика-анархиста.

Наскоро записывалъ въ карманную книжечку, охваченный ужасомъ, и волоса его, вставшіе дыбомъ, волновались: «Объ этомъ теперь напишу фельетонъ я!».

Мистикъ-анархистъ говорилъ, вскочилъ, тьму заклиналъ и молилъ, и высоко вздернутыя плечи, и лицо-жемчужина, и длинныя пряди волосъ,—море желтенькихъ лютиковъ,—точно гасли въ наплывающемъ вечерѣ.

Вьюга—клубокъ парчевыхъ нитокъ—подкатилась къ окну: вѣтры стали разматывать.

И парчевое серебро сквозной паутиной опутало улицы и дома.

Изъ-за заборовъ всталъ рядъ снѣжныхъ космачей и улетѣлъ въ небеса. Изъ-за бора встали гребни сѣдинъ и разбились волнами о небеса. Изъ-за забора всталъ рядъ снѣжныхъ нитей и улетѣлъ въ небеса.

Но онъ низвергся. Легъ подъ ногами въ одну звѣздистую сѣть.

И опять взлетѣлъ, и все пропало...

Адамъ Петровичъ, ища разгадки, пришелъ къ мистику-анархисту: словами заткали его, точно громадными полотнами.

Такъ красивая ложь оплела паутиной его тайную встрѣчу.

Предъ нимъ стоялъ мистикъ и прыгалъ въ небо. Но полетѣлъ внизъ. И красиво вралъ.

Адамъ Петровичъ брезгливо прищурилъ глаза: изъ огневыхъ янтарей, задрожавшихъ въ окнѣ, сверкнулъ рядъ колкихъ иголъ и укололъ небеса.

Очи зажмурилъ.

Иглы пересѣклись, ломаясь, въ одну звѣздистую сѣть.

И очи открылъ: и все пропало...

Очи открывалъ, закрывалъ: иглы ломались, металисъ, какъ тонко отточенныя золота лезвія.

Медъ снѣжный.

Адамъ Петровичъ возвращался отъ мистика-анархиста.

Тѣнь Адама Петровича, неизмѣнно выростая, рвалась впередъ отъ него, удлиняясь и тая на мостовой.

А ужъ на стѣнѣ скользила еще одна тѣнь, а за ней поднималась еще.

Всѣ двойники и выростали, и таяли, и уплывали впередъ.

Выростали, таяли. Таяли, выростали.

Такъ шелъ онъ, окруженный кучкой призрачныхъ двойниковъ. Такъ шелъ онъ съ ватагой бѣлыхъ стариковъ. Такъ шелъ онъ, окруженный хладными роями, — старинными, неизмѣнными, вѣчно-метельными.

Когда же онъ пошелъ обратно, всѣ тѣ двойники, что истаяли, возникали опять и плыли обратно: выростали и таяли,— таяли, выростали.

Кружевныя крылья лунной птицы изорвали мечи набѣжавшихъ тучекъ; вѣтеръ сдулъ блѣдную шапочку одуванчика, развѣялъ пухъ. Развѣялъ вѣтеръ.

Луна померкла.

Такъ: онъ думалъ, что странные слухи клубились по городу.

Блѣдный токъ метущій осѣдалъ мягко: какъ снѣгъ въ сердца декадентовъ; ихъ слова зацвѣтали стразами и отгорали.

Декаденты бросались по городу, ужасались и восхищались. Козловодъ Жеоржій Нулковъ крутилъ въ гостинныхъ мистическіе крутни.

Смѣялся въ лукавый усъ: «Кто можетъ сказать упоеніѣй меня? Кто можетъ, какъ медъ, снять въ баночку всѣ дерзновенія и сварить изъ нихъ мистическій супъ?».

Надъ нимъ подшутила метель: «Ну, конечно, никто! ».

Схватила въ охапку: схватила, подбросила—и подбросила въ пустоту.

А стаи печатныхъ книгъ вылетали изъ типографій, взвѣянныя метелью, проснѣжались непрочитанными страницами у ногъ прохожихъ.

Такъ онъ думалъ.

Да.

Темныя чувства — осы — роились у сердца.

Алый бархатъ крови стекалъ съ распятія, гдѣ ужасъ небытія распиналъ и пригвождалъ. Царь въ алый шелкъ своей крови облекся.

Кто-то отвергалъ его душу, то вновь призывалъ, — покрывалъ, словно багряницей.

Словно протягивалъ губку съ уксусомъ: «Кто можетъ Тебя снять со креста?»

Приникалъ къ Распятію, и Распятый: «Ну, конечно, никто!».

Кто-то, милый, снялъ съ кипарисnаго древа, нѣжно поцѣловалъ и бросилъ подъ ноги горсти гвоздей.

Пусть тысячи колкихъ жалъ вопьются въ бѣдныя ноги, орошаясь пурпуромъ крови.

Думалъ.

Декадентская общественность воевала съ міромъ.

Соціалъ-демократъ убѣгалъ въ анархизмъ; кучки анархистовъ ломились въ мистику; большой, черный, теократъ, какъ ассирійскій царь, примирялъ Бога и человѣка.

Всѣ они глумились надъ соціалъ-демократами:

«Мы-то лѣвѣе васъ!».

За чаемъ бросали словесныя бомбы, экспропріируя чужія мысли. Всѣ они забѣгали влѣво, пропадали за горизонтомъ, купаясь въ мистикѣ, и восходили, какъ солнца, справа.

И ватага мистиковъ росла, все росла, бездѣльно шатаясь другъ къ другу и поднимая метель словъ.

Думалъ.

Счастье Христово покинуло Адама Петровича. Онъ сонно ахнулъ и ланиты его точно блекли, точно отгорали.

Его глаза то грустили, то искрились гнѣвомъ: «Кто могъ меня оставить въ этихъ красныхъ шелкахъ?».

Кто-то, Невидимый, шепнулъ: «Ну, да: это—Я». Кротко столкнулъ въ пасть небытія и бросилъ подъ ноги горсть бриллiантовъ.

И стая брызнувшихъ міровъ удаленно мчалась подъ ногами Адама Петровича въ черномъ бархатѣ небытія.

«Ахъ, никто не поможетъ вернуться!».

Висѣлъ въ темномъ. Мимо него съ гудѣніемъ пролетали міры; яркія звѣзды, блестя, бросали лучи.

Вышли помощники.

Ѳедоръ Сологубъ пошелъ на него изъ переулка.

Черныя тѣни развѣсилъ, охлажденныя хрусталями звѣздными слезъ: тряся сѣдою бородой, ѣдко замѣтилъ: «И яркія въ небѣ горѣли звѣзды!».

Выбѣжалъ Ремизовъ изъ подворотни: «Хочешь играть со мною въ снѣжнаго Крикса-Варакса?». Посмотрѣлъ изъ-подъ очковъ на Адама Петровича.

Вышелъ великій Блокъ и предложилъ сложить изъ ледяныхъ сосулекъ снѣжный костеръ.

Скокъ да скокъ на костеръ великій Блокъ: удивился, что не сгораетъ. Вернулся домой и скромно разсказывалъ: «Я сгоралъ на снѣжномъ кострѣ».

На другой день всѣхъ объѣздилъ Волошинъ, воспѣвая «чудо св. Блока».

Черныя толпы ждали Городецкаго на Невскомъ.

Добрый народъ поджидалъ долго. Прощелкалъ Городецкій. Щелкнулъ пальцемъ кому-то въ носъ.

Громовые вопли провожали мальчика.

Жеоржій Нулковъ на лихачѣ пролетѣлъ мимо и кричалъ: «Мы, мы, мы».

Грустно вздохнулъ Шестовъ: «Не люблю болтовни!»... «Вы нашъ!»,—закричали мистики и увели въ «Вѣну».

Вотъ какъ? Да, такъ.

Такъ думалъ Адамъ Петровичъ.

Прошелъ мимо.

У окна остановился.

Изъ окна окатилъ его свѣтъ: «Никто не поможетъ мнѣ залѣчить гвоздныя язвы!».

Мимо съ гудѣніемъ пронеслись, будто въ свѣтѣ брызнувшія мошки, и, ярыя мошки, облѣпили, язвя, лицо.

Ходилъ вдоль стѣны и поглядывалъ, и заглядывалъ въ окна свѣта.

Кто тамъ въ окнѣ сидѣлъ надъ лампой?

И окно свѣта тихо угасло, и мошки угасли: кто тамъ ушелъ, захвативъ лампу?

Очнулся. Заглянулъ въ окно.

Тамъ желтое кружево застыло на потолкѣ. Тамъ желтое кружево поползло.

Тамъ возвращались въ комнату съ лампой въ рукѣ.

Бархатныя ея раскидались, вихряныя въ небѣ объятія. Неизвѣстная надъ нимъ взвилась. Что въ ней было?..

Облачки вьюги пышно вздувала, прогоняла новое. Вздувала, прогоняла; прогоняла, вздувала.

Тамъ на вздохъ отвѣчала вьюга вздохомъ. На желанье блистаньемъ у лампады отвѣчала бѣлая метель.

Надъ заборомъ затанцовалъ вихряный столбъ. Неизвѣстный взвивалъ свои блѣдныя нѣдра. Что въ нихъ было?

Но бѣжалъ, и вихряный столбъ упадалъ въ заборную скважину: тамъ воздушные летуны—столбъ за столбомъ—пышно взлетали и пышно падали.

Изъ-за забора кивали другъ другу, за заборомъ носились сладкою они, сладко ахнувшей вьюгой.

За стѣной у него незамѣтно взлетали столбы: но за стѣной призывали его, какъ въ дѣтскіе годы, куда-то.

Обернулся. Пошелъ назадъ.

Снѣговые столбы, выроставшіе—ниспадали, ниспадавшіе—таяли.

Они встрѣтились. Глаза блеснули. Склонились въ серебряныхъ тѣняхъ

Они встрѣтились, гдѣ лампадный огонекъ кропилъ пурпуромъ снѣга, озаряя образъ Богородицы.

Глаза ея блеснули любовью, когда склонилась предъ нимъ въ сквозныхъ вуаляхъ, въ осеребреныхъ соболяхъ; золотою головкою клонилась желанно, пурпуровымъ вздохомъ устъ затомила: это все въ ней радостно пѣло.

Это сонъ сбѣжалъ съ его черныхъ рѣсницъ. Да, на вздохъ отвѣтила вздохомъ, на желанье—желаньемъ.

Столкнулись Но разошлись. Но шаги ихъ замерли въ отдаленіи.

Затомила, сонъ сбѣжалъ; отвѣтила вздохомъ: но разошлись.

—

Онъ думалъ о ней. Она о немъ думала. Пышно взлетѣли снѣга, пышно падали; то сѣкли колко, то ласково щекотали подъ воротникомъ.

Въ ней онъ узналъ свою тайну. Что она въ немъ узнала?

Она была ему милая, а онъ—ей.

До встрѣчи томились, до встрѣчи искали, до встрѣчи молились другъ другу, до встрѣчи снились.

Надъ фонаремъ стоялъ свѣтовой кругъ.

Стоило подойти ближе, и фонарь втягивалъ въ себя свѣтовой, на снѣгу трепещущій, кругъ.

Онъ шелъ.

Снѣговые круги—кругъ за кругомъ,— незамѣтно втягиваясь въ стекло фонаря, незамѣтно истаяли передъ нимъ.

Вновь за спиной они выростали.

Сладкая была дума о ней, сладкая о Господѣ тайна: зна-

читъ, Господь былъ среди нихъ. Грустно позвалъ, какъ и въ дѣтскіе годы, куда-то.

Обернулся. Пошелъ назадъ. Никого не было.

Свѣтовые круги, выроставшіе,—таяли, таявшіе,—выростали.

Обернулся. Пошелъ назадъ.

Свѣтовые круги, таявшіе, выростали, выроставшіе,—таяли.

Кто тамъ стоялъ и глядѣлъ на него долгими, синими взорами?

Вьюжные рои взвихрились у домовъ. Подворотни мягко гремѣли, когда снѣжныя горсти то взлетали, то ниспадали. Все покрылось матовымъ инеемъ.

Въ окнѣ вздохнули: «Кто можетъ заснѣжить все?».

Вьюга сказала: «Ну, конечно, я!».

Грустно задышала и бросила подъ ноги новые снѣги. Новыя стаи взвизгнувшей пыли стремительно ринулись изъ-подъ забора въ синій бархатъ ночи, мимо съ гудѣніемъ пронеслись и облѣпили, холодя, оконныя стекла.

Бѣлые шмели роились у фонарей.

Бѣлый бархатъ мягко хрустѣлъ у его ногъ: горсти брилліантовъ и разцвѣтали, и оттерали.

Его глаза то грустили, то радовались лазурью, а золотая бородка покрылась матовымъ инеемъ.

Смѣялся въ бѣлый снѣгъ: «Кто можетъ мнѣ запретить только и думать о ней?».

Пробѣгалъ мимо фонаря. Кто-то невидимый шепнулъ ему: «Ну, конечно, никто!»...

Нѣжно поцѣловалъ и бросилъ подъ ноги горсть бриллiантовъ. Да: цвѣтущую горсть.

Стаи брызнувшихъ мошекъ ослѣпительно понеслись изъ-подъ ногъ на бѣломъ бархатѣ снѣга.

Крутилъ у подъѣзда золотой усъ: «Никто не можетъ мнѣ запретить только и думать о ней».

«Думать о ней».

Звонился.

Мимо него съ гудѣніемъ пролетали рои: бѣлыя пчелы облѣпили, холодя, его лицо.

Вдоль глухой стѣны поплыли окна-свѣта.

Это прислуга шла отпирать дверь—проходила по комнатѣ съ лампой въ рукѣ.

Окно свѣта застыло на глухой стѣнѣ: это прислуга поставила лампу, чтобъ отпереть ему дверь.

«Только и буду думать о ней».

«Думать о ней».

Лежалъ въ постели. Пробѣгали думы. Открылъ глаза.

Пробѣгали пятна свѣта на потолкѣ: это ночью на дворѣ кто-то шелъ съ фонаремъ.

Другія думы оживили его—думы скорби: «Я—нищій, а она—Брунгильда, окруженная поясомъ огня!».

«Брунгильда изъ огня».

Открылъ глаза.

Пятна свѣта бѣжали обратно по потолку.

Въ пѣнѣ бѣлой.

Завитыми огнями головки надъ фарфоровой чашечкой кофе склоняясь, ножкой дразнила болонку, откидывалась назадъ, перелистывала томикъ и роняла на чайный столикъ.

Хрупкія кружева, подъ окошкомъ шатаясь, взбивала пурга, кружева разрывала, въ окна стучала.

Да, стучала.

Снѣжное его лицо, будто метель разрывая, стужей въ окно ей смѣялось, кивало и проносилось.

И Свѣтлова, къ окну подбѣгая, въ хрусталяхъ, въ льдахъ клонилась, ихъ цѣловала, протягивала руки и замирала.

Ея кружева, съ рукъ спадая, струились, платье пѣнили; руки ломала и возвращалась къ кофе.

Онъ стоялъ, весь въ цвѣтахъ, весь въ снѣгахъ, въ хрусталяхъ и смѣялся у оконъ, какъ въ дѣтскіе годы смѣялся когда-то.

Онъ воздѣлъ свои руки и роемъ снѣжинокъ, букетомъ цвѣтовъ полевыхъ въ окна ей бросилъ: такъ бросалъ лепестки онъ въ дѣтскіе годы когда-то.

Онъ ее призывалъ, какъ и въ дѣтскіе годы когда то.

Вкрадчивый мистикъ, краснѣя зарей молодой, подносилъ ей томикъ разсказовъ.

Завитая туманами рѣчь, испещренная тайнами, обуревала ее.

Бархатныя туфельки легко уносили ее отъ гостя, и ручками затыкала она уши.

Одутловатый толстякъ, инженеръ, приходившійся ей мужемъ, небрежно вышелъ къ влюбленному мистику.

Но сконфуженный студентъ, спотыкаясь о символы и ковры, поспѣшилъ убѣжать отъ зѣвающаго толстяка.

Тамъ, въ цвѣтахъ у ея подъѣзда, подглядѣлъ, какъ въ саняхъ она пролетѣла куда-то.

За нею, за ней, въ снѣжный хохотъ метелей, бросался за нею куда-то.

Изъ-за черныхъ дверей въ смертный саванъ метели бросались куда-то.

Остуженный мертвецъ пурги, всѣхъ пеленая, шушукалъ блѣднымъ муаромъ савана, развѣивалъ саванъ, повисалъ надъ карнизомъ ледяной костью.

Мягкія сани, въ безпредѣльность пурги ускользая, снѣгъ взмывали, брызгали дымнымъ сребромъ, визжали и пропадали.

Грустно призывъ, изъ пурги выростая, билъ среброрунной струей, грустно ласкалъ, грустно носилъ.

Въ магазинѣ моднаго платья, межъ грустнорунныхъ атласовъ ныряя, она выбирала муаръ, склонялась и выпрямлялась.

Его блѣдныя руки тянулись въ пургу, какъ и въ дѣтскіе годы когда-то.

Улыбались друзья; онъ не видѣлъ друзей: пробѣжалъ мимо нихъ куда-то.

Будто звали его, какъ и въ дѣтскіе годы куда-то.

Подруга клонила къ Свѣтловой головку страусовыми перьями, прижимая муфту къ лицу, ей лукаво шептала.

Свѣтлова клонила къ подругѣ головку страусовыми перьями, ея мѣховой руки коснулась маленькой муфтой.

Лукавымъ смѣхомъ клонились другъ къ другу и страусовыми перьями; оглядываясь на прохожаго, шептали другъ другу: «Вотъ онъ, вотъ онъ!».

Блѣдный, ласковый ликъ, повертываясь къ нимъ, точно хотѣлъ подойти и проходилъ мимо.

Бархатно-мягкій день, заснѣженный вьюжными вихрями, запѣвалъ надъ домами.

Грустно-рунныя струны съ серебряныхъ лютней срывая, кто-то блѣдный грустилъ какъ и прежде, грустилъ, какъ и прежде.

Предвѣщанія.

Вьюга гудѣла.

Въ окнѣ вьюга летѣла ледянымъ скелетомъ, обвитымъ зажженной порфирой, взметенной, метущей.

Гремѣлъ рогъ пургой: «Вотъ я, вотъ я на васъ!».

Завизжало лезвіе косы, струившее снѣгъ надъ домами; забряцалъ конь алмазнымъ копытомъ на телеграфныхъ проводахъ.

Вздыбился. Оборвалъ проводъ: «Горе вамъ, горе!».

Надушенный эстетъ прильнулъ къ Адаму Петровичу: «У насъ откровенія...»

Святыя слова картавилъ, кривляясь, напыщенно.

Звалъ туда-же, туда-же: «Всѣ придутъ. Всѣ облекутся! Уйдя, сохранятъ молчаніе».

Широкая шляпа, качавшаяся цвѣтами, сквозная вуаль, запѣвавшее шелкомъ платье, — смотрѣлъ онъ, смотрѣлъ въ открытую дверь.

Бархатно-мягкой походкой вошла блондинка, бархатно-мягкой походкой вошла брюнетка; завитыя въ вуали, бросились къ Адаму Петровичу; обнимая другъ друга, другъ другу глядѣли въ глаза.

«Мы запишемъ васъ въ наше общество. Мы васъ пресытимъ восторгами. Мы васъ—сладкіе у насъ, сладкіе полеты, идите, идите къ намъ!».

Надушенный эстетъ, запѣвавшая шелкомъ блондинка, запѣвавшая шелкомъ брюнетка,—узналъ онъ, узналъ тѣ горькія нѣги!

Чей-то тревожный окрикъ взлетѣлъ надъ городомъ: кто-то кого-то куда-то звалъ.

Расчесанный лакей снялъ съ нея шубу: «Баринъ къ обѣду вернулся!».

И слова оплели ее пошлостью: «Всѣ сядутъ за столъ. Всѣ за столомъ изолгутся. Уйдутъ и вернутся. Вернутся и уйдутъ»...

Знакомая мерзость дней, смѣшокъ извращенной услады—о, если бы онъ не поддался соблазну!

Чей-то разорванный саванъ шушукнулъ подъ окнами: кто-то кого-то куда-то звалъ.

Адамъ Петровичъ говорилъ съ блондинкой. Ревниво краснѣла брюнетка, ревниво краснѣлъ эстетъ. Говорилъ съ брюнеткой — ревниво краснѣла блондинка, ревниво краснѣлъ эстетъ: это были проповѣдники эротизма.

Блондинка, брюнетка, эстетъ — эстетъ, брюнетка, блондинка: всталъ, разорвалъ душное кольцо.

Чье-то сѣкущее лезвіе, точно коса, протрезвонило въ окнахъ: кто-то, блѣднѣя, вскинулъ руками.

Свѣтлова, прилетѣвъ домой, плеснула предъ зеркаломъ перчатками. Комнаты убѣгали въ зеркала. Тамъ показался онъ, милый, милый. Обернулась—бѣжалъ ея мужъ: уронила сквозной платочекъ.

Дряблый, пыхтящій инженеръ, задыхаясь въ подбородкахъ, уронилъ ей на плечи свои потныя, потныя руки.

Адамъ Петровичъ надѣлъ передъ зеркаломъ перчатки. Комнаты убѣгали въ зеркала.

Тамъ показалась она: милая, милая.

Обернулся — въ передней стоялъ лакей: поднялъ съ полу чей-то сквозной платочекъ.

Сѣрый, нѣмой лакей, застывая съ шубой, уронилъ ему на плечи душный, тяжелый мѣхъ.

Жалкій дубовый гробъ выплывалъ изъ метельныхъ гребней: чьи-то похороны тащились куда-то.

Свѣтлову поймалъ мужъ. Свѣтлову терзалъ ласками: «Знакомые обѣщали быть непремѣнно!».

И она: «Придутъ (оставь) все такіе-же пошлые!».

Разметнула свистными крыльями шали, (точно лебедь, пахнувшій холодомъ), и зеленые стебли, упадающіе надъ дверью, грудью разбила убѣгая къ себѣ.

Адама Петровича поймалъ оргіастъ. Онъ терзалъ вопросами. Знакомые отвѣты раздавались привычно.

Говорилъ все такъ-же, все такъ-же...

Хрустальныя крылья снѣговъ — лебедей, поющихъ холодомъ, — разбивались у него на груди, падая съ небесъ.

Чей-то тревожный крикъ изрыдался надъ городомъ: кто-то кого-то куда-то звалъ.

Полетъ взоровъ.

Вскипало. Вскипало.

Пропѣнились снѣжные листья — блѣдные цвѣтики пуха.

Голосило: «Опять приближается—опять, опять начинается: начинается!».

Пробренчало на телеграфныхъ проводахъ: «Опять... надвигается... опять!..».

Снѣгъ всталъ потопомъ.

Къ пернатымъ дамамъ вошелъ въ ложу. Улыбнулся разсѣянно, тихо.

Строгая красавица навела на нихъ лорнетъ.

Ярко-синія дали очертили томныя рѣсницы — затомили нѣгой.

Качалось волосъ ея зарево, золото...

Ароматно тонула, тонула—въ незабудковомъ платьѣ, какъ небо, въ бѣлопѣнной пургѣ кисейныхъ, кремовыхъ кружевъ, будто въ нѣжной, снѣжной пыли.

Замерцалъ въ волосахъ, блеснулъ, какъ утро, розовый бриллiантъ и, какъ день, матовая жемчужина слезою качнулась.

Еле всхлипнулъ вѣеръ въ легкихъ перьяхъ, — небрежныхъ взмахахъ.

Пѣла вьюга, свистѣла.

Проливались жемчужныя пѣсни,—снѣжныя, нѣжныя сказки, вьюжныя

Засвистали: «Счастье приближается,— опять надвигается, опять!».

Взвизгнулъ рукавъ на телеграфныхъ проводахъ, какъ гибкій смычокъ на желѣзныхъ струнахъ: «Милая... нензвѣстная... милая!».

«Наше счастье съ нами!».

«Да, да».

Віолончель безотвѣтно вздохнула: шелестъ скрипокъ повисъ, точно летъ снѣжной пѣны, точно пѣнныхъ въ небѣ токъ лебедей отъ брызнувшихъ въ воздухъ и размѣшанныхъ съ ночью.

На него она обернулась: удивленно взглянула,— въ упоръ заглядѣлась испуганно.

Въ упоръ бирюзовымъ виномъ своихъ вспыхнувшихъ глазъ запьянила.

Опустила глаза. Плеснула вѣеромъ.

Точно облачко вьюги набѣжало на нее, какъ на солнце, замело кружевными снѣжинками.

Дышалъ зорями онъ.

Сладкимъ пламенемъ, сладкимъ, оплеснуло грудь.

Кивалъ, смущенно кивалъ,— въ партеръ друзьямъ и знакомымъ, словно отмахивался отъ кокетливыхъ ея, ласковыхъ ея, взглядовъ: все точно вздыхалъ надъ чѣмъ-то.

Отъ истомныхъ волненій безцѣльно игралъ съ боа пернатой дамы, изъ-подъ бархата рѣсницъ милую темносинимъ взоромъ ласкалъ онъ, все такъ-же, все такъ-же, предлагая-кому то бинокль глупо, безцѣльно, разсѣянно.

Говорилъ съ сосѣдкой о томъ-же, все о томъ-же. Глядѣлъ все туда-же, туда-же.

Встала она, и атласомъ вскипѣвшая шаль рванулась съ нея какъ взметенный, сквозной столбъ метельный.

Надъ нимъ, вкругъ него взволнованно проплывали очей ея синія волны, синія—синева больная больно томила, сладко.

Взоровъ пьяное вино, пьяное, терзало однимъ, навѣкъ однимъ.

Въ пространствахъ замахали вѣтками снѣжныхъ, воздушныхъ ландышей: тамъ изступленно упивались просторомъ ночи, дышали морознымъ вихремъ, купались, облегченно клонились пѣть надъ трубами.

И трубы пѣли:

«Дни текутъ. Снѣгъ разсыпается. Снѣгомъ встало незакатное, безсрочное...»

«Пролило пургу свою—ласку морозную — бѣлыми своими устами расточило поцѣлуи льдяные...»

«Засочилось снѣговымъ посвистомъ...»

И деревья, охваченныя снѣгомъ, возметали ликующе суки свои, точно діаконы ночи, закупались въ снѣгѣ и вздохнули облегченно, побѣлѣвшія въ снѣжныхъ объятіяхъ.

Люди текли. Антрактъ близился къ окончанію. Вотъ и она близко.

Надвигалась въ черныхъ сюртучныхъ тучахъ, голубымъ неба пролетомъ завуаленнымъ кружевомъ, уксусъ томленій претворяя въ золото и пургу.

Пролила изъ очей ласку лазурную. Пронесла улыбчиво уста, какъ лепестки, ароматные.

Шлейфомъ по сверкающему паркету разсыпала незабудки.

Пряди волосъ просочились мимо медовымъ пламенемъ, когда натянула, играя, надъ личикомъ сквозное, серебряное кружево, метнувъ яркій взоръ свой.

Кавалеръ ея, старый полковникъ, оттопыривъ руки, вертѣлъ фалдами мундира, сверкалъ эксельбантами и сѣдиной, усмѣхался бритымъ лицомъ, охваченный ея кокетствомъ, отмахивался отъ ея шутокъ, упивался, дышалъ, восхищался ей, вздыхалъ сладко въ ея благоуханіи и — священнослужитель восторга — выше, выше свой профиль бросалъ, словно гордый, застывшій сфинксъ.

Вьюга уксусъ страданій претворяла въ радость и пургу.

Качались метельныя, сквозныя лиліи—кадильницы холода.

Ревомъ, ревомъ фиміамъ свой по въ небо метали діаконы ледяные.

Адамъ Петровичъ вошелъ въ ложу, повитый отсвѣтомъ вѣчной любви, несказанной...

Вошелъ къ своимъ. Нѣтъ, не къ своимъ.

Точно спадающій водопадъ, струевыя, пѣвучія складки шелка дробились о нѣжное тѣло ея, когда она гордо приподнялась.

Чуть-чуть усмѣхнулась. Чуть-чуть покраснѣла. Чуть-чуть наклонилась. Чуть-чуть отступила.

Что-то сказалъ подругѣ.

— «Простите, простите!» — «Ничего!». Понялъ, что не туда попалъ.

Изъ ея вышелъ ложи сконфуженный, вѣчнымъ овѣянный, всегда тотъ-же.

Гордо ударилъ громкій смѣшокъ гордо гремящаго полковника.

Опять. И опять...

И она улыбнулась тоже.

Это были восторги ихъ душившаго счастья сближеній мгновенныхъ, чуть замѣтныхъ: вѣтряно-снѣжные полеты кокетства.

Это была игра. Нѣтъ, не игра.

Просторы рыдали.

На перламутровомъ дикомъ конѣ пролетѣлъ іерей—перламутровый іерей, вьюжный іерей, странный.

Въ ледистой, холодомъ затканной митрѣ, священнослужитель морозовъ на рукахъ выше, выше своихъ вознесъ сладкую, сладкую лютню.

Изъ рукавовъ его простроились муары снѣжинокъ. Блѣдными пальцами задѣлъ легкоцвѣтныя, вѣйныя струны.

Провздыхалъ: «Счастье, счастье!».

«Ты съ нами!».

Сбѣжала съ лѣстницы. Ронились у подъѣзда. Мягкій бархатъ ковра хрустѣлъ у ея ногъ; чуть приподнятая юбка зацвѣтала шелкомъ и отторала.

Ея глаза то грустили, то радовались, то смѣялись, то плакали, то сіяли, то потухали.

Ея шаль, какъ одуванчикъ, пушилась кружевомъ надъ золотою головкою.

Надъ лѣстницей, свѣсившись, похотливо смѣялся ей какой-то сюртучникъ: «Кто запретитъ мнѣ любоваться ея стройной ножкой?».

И она безотвѣтно ускользнула: шелестъ юбокъ пронесся, какъ вздохъ замирающей грусти.

Но она безотвѣтно въ снѣгахъ утонула: шелестъ снѣга пронесся, какъ летъ птицъ сребристыхъ.

Но она сѣла въ сани.

Мягкій ее снѣгъ поцѣловалъ и подъ ноги бросилъ горсть бриллiантовъ.

Сани стремительно понесли, дробя хрупкій бархатъ.

Серебряныя, какъ-бы снѣжныя, лютни надъ ней зазвенѣли.

Раздалось пѣніе метельнаго жениха: «Ты, вьюга,—винотворецъ: уксусъ страданій претворяешь въ сéребро да пургу».

«Радуйтесь, пьяницы, радуйтесь и вино пейте, — вино бѣлое: — вино морозовъ».

И она захлебнулась морознымъ виномъ.

Постылое зелье.

Она беззаботно раздѣвалась.

Шелестъ незабудковыхъ волнъ шелка — водопадъ ниспадающихъ одеждъ — раздавался отъ движеній ускользающихъ ея, обнаженныхъ рукъ.

Чѣмъ нѣжнѣе ластились къ ней одежды, тѣмъ настойчивѣй рвала ихъ она, возставшая изъ голубого, залитого шелка пѣной бѣлой, точно изъ морской волны, разбитой утесомъ,— возстала въ сквозномъ батистѣ.

Какъ двѣ легкія тучки, поднимались, клубясь, ея груди въ желтой зарѣ волосъ, изсѣкавшихъ ей облачковое тѣло.

Поднимались и опускались.

А ей улыбался желанный, улыбался вѣчно грустный, все тотъ-же.

Она клубилась въ темныхъ тѣняхъ: пирносладкимъ изъ темноты поцѣлуемъ призывала его она.

Въ непрестанной истомѣ взоры изъ-подъ, какъ миндаль, удлиненныхъ глазъ, изъ-подъ черныхъ, темныхъ рѣсницъ бархатомъ жуткимъ, синимъ, въ ночи темь впивались властно, сластно, томительно.

Но толстякъ пришелъ, засквозилъ въ темнотѣ и полѣзъ на постель, призывая шепотомъ жену.

Да, она упала въ простыни униженно, да, отчаянно она упала, а надъ ней взволнованно наклонился толстякъ — запыхтѣлъ и страстью сладкою пылалъ.

Въ окно плескалъ вѣтеръ.

Все вскипало тамъ бисерной пѣной стужи, какъ въ бокалѣ пьянаго шампанскаго.

Бокалъ за бокаломъ вскипалъ и въ окна снѣгомъ ударялся.

Она горестно замирала въ постыломъ объятьѣ, навѣкъ постыломъ.

Инженеръ лежалъ рядомъ съ ней. Инженеръ шепталъ ей: «Люблю я!».

Дрябло прижался въ слащавомъ томленьѣ къ ея жарко лилейному тѣлу.

Тѣснѣе. Тѣснѣй.

И она молчала униженно.

Вѣтеръ стихъ. Метель улеглась. И пропѣлъ пѣтухъ.

Странно раздался задорный гортанный крикъ среди ночного безмолвія.

Еще. И еще.

И вездѣ запѣли пѣтухи.

И потомъ вновь поднялся торжествующій хаосъ, взметая потопомъ снѣга.

Первая метельная ектенія.

Мертвые круги пропылавшихъ лицъ, скрытность взоровъ, извороты кривыхъ мыслей, — давно узнала она этотъ страшный кошмаръ.

Такъ думала, просыпаясь: золотая, истомленная головка ея поднималась съ подушки.

Волнистый дымъ рубашки пеленалъ ея тѣло, когда сбросила тяжелое одѣяло съ себя, точно золотую порфиру, испещренную пятнами.

Ей въ окошко смѣялась метель.

Ты, метель, — бѣлый комъ, ревъ снѣга, хохотъ пѣны, шумъ вѣтра.

Какъ сквозная ты птица, какъ лебедь, взлетѣла.

Взлетѣла надъ колоколомъ, опрокинутымъ надъ нами.

Яснымъ перомъ—снѣжнымъ столбомъ—брякни въ лазурь.

Да: зареветъ міровой колоколъ, призывая къ всесвѣтной ектеньѣ.

Вьюгѣ помолимся.

Ты, метель, бѣлопѣнная.

Въ гладь лазури дымишь ты бѣлымъ, шипучимъ снѣжнымъ виномъ.

Возноситесь надъ міромъ, снѣга легколетные, снѣги пьяные, снѣги — шатуны.

Ревомъ, ревомъ орари въ вышину мечите, діаконы вихреслуженія.

Вьюгѣ помолимся.

Толстый пошлякъ вздыхалъ сонно, заплетясь въ простыню, — спалъ, все спалъ.

Зѣвая, точеными руками она охватила колѣни.

Бѣлой ножкой ступила на коверъ, окаймленный точно горностаевымъ мѣхомъ.

Ей въ окошко смѣялась метель.

Ты, метель, — бѣлый цвѣтъ, облако пуха.

Какъ большой одуванчикъ, какъ сквозной мѣсяцъ, взошедшій надъ міромъ, безполезно лазурью пропитанный зимнимъ денькомъ.

Пухомъ—колкимъ снѣгомъ—выше взвейся, выше взвейся.

Взвихрии кружевнымъ, снѣжнымъ фонтаномъ.

Хлестни счастьемъ, замети.

Вьюгѣ помолимся.

Ты, метель, улей бѣлыхъ пчелъ: колкими пчелками впейся въ морѣ, небесныхъ колокольчиковъ.

Медоносныя пчелки, отъ голубенькихъ онѣ оторвутся цвѣтковъ.

Заползутъ подъ воротникъ прожужжатъ о невозвратномъ.

Къ вьюгѣ, къ вьюгѣ съ мольбой свои лица бросайте, руки ей простирайте.

Вьюгѣ помолимся.

Глаза ея огорченно упали на мужа: мужъ былъ толстякъ. Мужъ пролеталъ въ пустоту.

Низко плавая, онъ мечталъ о высокомъ.

Одутловатая, сонная голова его продавила подушку.

Брезгливо слушала его громкіе вздохи, точно вздохи кузнечныхъ мѣховъ.

Ахъ, вьюга, — зычный рогъ, гласъ Божій!

Какъ блаженная вѣсть ты, въ сердца намъ глаголешь, ты намъ глаголешь.

Зычный рогъ, зычный: уставься на небо и голоси, и проголоси.

Скажи, о, молитвенница наша, о, скорая наша помощница: «Господь съ вами».

Гремите, гремите рога вихряные!

Громче, громче невѣсту, громче исповѣдуйте, громче—невѣсту-метель!

Се грядетъ невѣста, облеченная снѣгомъ и вѣтромъ ревучимъ.

Се метель грядетъ снѣгомъ, неневѣстная.

Вьюгѣ помолимся.

Золотая утомленная головка ея показалась въ окнѣ.

Волнистый, снѣжный дымъ взвихрилъ все предъ ней: все предъ ней точно засыпалъ пушистымъ мѣхомъ.

Она любила метель.

Ты лети, бѣлый лебедь, изъ снѣга сотканный, лети.

Захлещи вьюжнымъ крыломъ по лазурному морю.

Крылатый, крылатый, — пой намъ, о, пой намъ пурговую пѣсню, улетая къ солнцу!

И лебедь поетъ. Лебедь летитъ. Поетъ и летитъ. Поетъ и улетаетъ.

«Ты, солнце, тяжелый шаръ,—золотой храмъ міра!».

«Золотой храмъ, воздвигнутый въ лазурь...»

«Я лечу ко твоимъ, ко святымъ мѣстамъ — къ золотымъ столбамъ — лучамъ — ко вселенской обѣднѣ»!.

Возноси моленія наши.

Улетай, лебедь-вьюга!

Сумбуръ.

Адамъ Петровичъ шелъ на шумное собраніе, чтобы повидаться съ яснымъ другомъ, старымъ мистикомъ, давно ушедшимъ въ молчанье.

Знакомые абрисы домовъ выснились неизмѣнно. Знакомые саваны мертвецовъ пролетали снѣгомъ.

Знакомые абрисы домовъ изъ-подъ нихъ высились неизмѣнно.

Говорили о томъ же, все о томъ же...

Все уйдетъ. Все прейдетъ. Уходя, столкнется съ идущимъ на встрѣчу.

Такъ кружатся вселенныя въ вѣчной смѣнѣ—все въ той же смѣнѣ.

Столбъ метельный мелькнетъ, снѣгъ взовьетъ, снѣгъ вздохнетъ. Столбъ сольется съ пургой, взметенной на встрѣчу.

Такъ кружатся столбы въ вѣчной смѣнѣ, въ снѣжной пѣнѣ—все такъ же, все такъ же, запѣваютъ о томъ же снѣга.

Мистическій анархистъ встрѣчалъ гостей. Пожималъ имъ руки.

Вводилъ въ кабинетъ, озаренный розовой лампадой. Вводилъ въ кабинетъ, опрысканный духами.

Здѣсь болтали все такъ же.

Всѣ кричали. Всѣ дерзали. Потрясалъ анархистъ, довольный собой и гостями, золотой, чуть раздвоенной бородкой.

Слегка напоминалъ онъ образъ Кореджіо—все тотъ же образъ.

Столбы метели взлетали. Въ окна стучали. Въ окнѣ мелькали. Въ окнѣ запѣвали.

Вотъ анархистъ безотвѣтно любилъ музыку: слушая прежде Вагнера, словно глаза зеленью горѣли, какъ хризолитъ.

Прежде онъ рыдалъ отъ вѣчно странныхъ, ускользающихъ думъ.

А теперь—никогда.

Теперь онъ сталъ пророкомъ сверхъ-логизма, сверхъ-энергетическаго эротизма, просыпалъ устами туманы, никому непонятные.

Точно съ умысломъ. Нѣтъ, безъ умысла.

Бралъ онъ голосомъ гаммы, бархатныя, какъ коверъ снѣговъ, слушая метельныя гаммы снѣговъ.

Отъ непрестаннаго улова новинокъ глаза изъ-подъ льняныхъ волосъ, изъ-подъ блѣднаго лба солярниковъ, планетарниковъ, оргіастовъ, діонисіастовъ ласкою улещали вкрадчиво, ловко, разсчетливо.

Съ устъ взволнованно слетали сласти,—сластныя сласти гостей услаждали.

Нулковъ притаился въ углу, записывалъ чужія мысли: у него было много записано словъ. Онъ думалъ: «Пора издать книжечку».

Сбоку сидѣлъ старый другъ Адама Петровича — сѣдой мистикъ.

Глубже онъ, глубже былъ прочихъ. Его знаніе опережало, всѣхъ опережало, все опережало.

Недавно онъ выпустилъ громадный свой трудъ—трудъ, глубоко продуманный, сталъ колодцемъ, изъ котораго всѣ черпали.

Камнемъ онъ, камнемъ упалъ на дно русской словесности (на поверхности плавали книжныя щепки).

Трудъ назывался: «Одно, навѣкъ одно».

Онъ не кричалъ о тайнахъ.

Но всѣ тайны онъ зналъ.

Отъ временъ стародавнихъ, Іисусовыхъ, онъ собралъ бездны гностическихъ мудростей о любви, изъ-подъ хаоса криковъ утаилъ подъ личиной онъ любовное о Христѣ знаніе, властно, мудро, настойчиво.

Не сталъ во главѣ. Не читалъ лекцій. Говорилъ: «Конецъ идетъ».

Одиноко держался сѣдой мистикъ отъ всеобщаго гама. Ждалъ.

Еще. И еще.

Но кругомъ бѣжали въ пустоту.

А кругомъ стоялъ шумъ. Въ статьяхъ вопили: «Мы, мы, мы!».

Но странно у старца горѣла въ глазахъ заря новой жизни.

Вотъ. Все еще.

Но нигдѣ не брежжилъ свѣтъ.

Кругомъ пускали мистическія ракеты. Собирались въ шайки.

Мистическіе болтуны болтали неизмѣнно—говорили о томъ же, все о томъ же.—Что дерзнутъ, что міръ лягнутъ: встанутъ на головы грозить пятками міру.

Такъ сходились у мистика—анархисты болтатели въ вѣчной болтовнѣ.

Златоволосый анархистъ точно вздыбился надъ головами гостей.

Рой головъ подобострастно склонился предъ нимъ и слова его зацвѣтали и отгорали.

Его руки то взлетали, то падали на столъ, а копье ледяное стучало по окнамъ.

Кричалъ, наступая на всѣхъ: «Кто запретитъ мнѣ все перепутать?». Нулковъ взвылъ: «Ну, конечно, никто!».

Схватилъ словарь Даля и подобострастно подалъ златобородому мистику.

Снѣжные мстители прилипали, воя, къ окнамъ.

Красные снопы лучей падали на всѣхъ. Яркими пятнами падали на лица.

Такъ горсти пятенъ разсвѣтали и отгорали.

Старый мистикъ то проливалъ на столъ сѣдину, то шепталъ Адаму Петровичу:

«Промчался золотой вѣкъ скромности. Кто можетъ теперь вернуть мнѣ былое?».

«Ну, конечно, не крикуны!».

«А все Тотъ-же, все Тотъ-же зоветъ насъ туда-же!»

Нервно закурилъ и бросилъ подъ ноги горсточку пламени на спичкѣ.

И стая прыснувшихъ дымовъ ароматно всклубилась изъподъ сигары въ синемъ бархатѣ вечера.

«Никто не знаетъ, что творится въ умахъ.»

«Ослѣпли. Погибаютъ, и призраки смерти обступятъ со всѣхъ сторонъ.»

«Говорятъ о томъ-же, все о томъ-же—говорятъ о любви и не знаютъ любви»...

«Линію глубины превращаютъ въ точку на плоскости».

«Лабиринта глухія стѣны: Минотавръ ждетъ!».

И пока шумѣли кругомъ, Адамъ Петровичъ открывалъ ему душу: «Я люблю ее».

«Всякая ко Христу любовь приближается!».

«Уноситесь-же, милый, на Христовой любви, какъ на крыльяхъ...»

«Вамъ дано: о, дерзните, желанный!».

«Вы на смерть пойдете!».

«Чѣмъ нѣжнѣе любовь, несказаннѣй, тѣмъ грознѣе, ужаснѣй встаетъ ненавистное время во образѣ и подобіи человѣческомъ...»

«Вы любите свято, о, бойтесь, желанный: третій встаетъ между вами!».

«Странно зоветъ священная любовь на брань съ дракономъ времени».

«Зоветъ. Все зоветъ...»

«Все побѣдитъ любовь!».

А сбоку кричали: «Чѣмъ святѣй, несказаннѣй вздыхаетъ тайна, тѣмъ все тоньше черта отдѣляетъ отъ тайны содомской».

«Подлѣ бѣлизны, лазури и пурпура Христова вихремъ соблазновъ влекутъ насъ иные пурпуры».

«Ангельски, ангельски въ душу глядятся однимъ, навѣкъ однимъ».

Вздыбился надъ домами іерей—вьюжный іерей, бѣлый.

Заголосилъ: «Соблазнъ разрушается!».

Замахнулся вѣтромъ, провизжавшимъ надъ домомъ, какъ мечомъ.

«Вотъ я... васъ... вотъ я!».

«Моя ярость со мною!».

И блисталъ онъ снѣгами.

Передъ нимъ, надъ нимъ, вкругъ него зацвѣтали огни: за нимъ мстители-воины серебромъ, льдомъ окованные, поспѣшали.

Яро они, яро копьями потрясали—сугробы мечами мели, мечами.

Точно двѣ встрѣчныя волны, столкнулись два эстета въ темномъ углу.

Одинъ шептался съ другимъ. Да, съ другимъ.

«Вы все тотъ-же, вы милый, тотъ-же вѣчно желанный!»

«Все тотъ-же».

«Вы — мой отсвѣтъ улыбокъ, мой бархатъ желанныхъ исканій».

«Вы прекрасную любите даму. Да, нѣтъ,—полюбите меня».

«Полюбите меня».

«Чѣмъ нѣжнѣе черныя кудри къ челу вашему льнутъ, — тѣмъ смѣлѣе, тѣмъ настойчивѣй люблю я, люблю».

Вотъ и губы эстетовъ змѣились запретной улыбкой. Да, запретной до боли—змѣились, змѣились.

Такъ.

Вскипѣла въ окнѣ, плача гнѣвно, — летѣла, снѣговая царевна.

Такъ гнѣвно, такъ гнѣвно склонилъ, опустилъ глаза: точно его распинала, крестная его распинала тайна.

Точно рвался съ кипариснаго древа, рвался.

Ахъ, да, да! Ему говорилъ старый мистикъ: «Они и о тайнѣ, но въ тайнѣ и ихъ уязвилъ соблазнъ».

Адамъ Петровичъ всталъ. Всталъ,—скорбно губы застыли изгибомъ.

И всталъ...

Руки поднялъ, заломилъ, опустилъ: хрустнули пальцы.

И застыли губы, застыли.

Пусть: застыли.

Возвращался домой. И роились рои: у фонарей рои роились,—и у ногъ рои садились.

Роились.

Бѣлый бархатъ снѣговъ мягко хрустѣлъ у его ногъ: ахъ, цвѣтики блестокъ цвѣтились и отцвѣтали.

Его глаза то цвѣтились, то закрывались рѣсницей, и парчевая бородка покрылась бархатнымъ инеемъ.

Прохрустѣвъ мимо ея дома, въ золотой смѣялся усъ:

«Кто можетъ мнѣ запретить только и думать о ней?».

«Думать: да,—о ней».

Бѣжалъ, бѣжалъ—пробѣжалъ.

Невидимый кто-то шепнулъ ему снѣгомъ и вѣтромъ:

«Думать о ней? Ну, конечно, никто».

Снѣжно поцѣловалъ, нѣжно бросилъ — бросилъ подъ ноги горсть бриллiантовъ.

Бросилъ.

Стаи брызнувшихъ искръ, ослѣпивъ, ужъ неслись: неслись—понеслись изъ-подъ ногъ въ бѣломъ бархатѣ снѣга.

Кто-то, все тотъ-же, долго щекоталъ, ярко, слѣпительнымъ одуванчикомъ — да и все затянулъ: все затянулось пушистыми перьями блеска, зацвѣтающими у фонарей.

И перья ласково щекотали прохожихъ подъ теплымъ воротникомъ.

Вьющій былъ вѣтеръ, поющій, метущій: волокна вьющій.

Среброхладный цвѣтокъ, неизмѣнно въ небо вростая, припадалъ къ домамъ.

Облеталъ и ускользалъ: и ускользалъ.

Пусть за нимъ ускользалъ и другой: ускользалъ и другой. Пусть за нимъ поднимался еще, и еще, и еще...

Всѣ рукава, хохотомъ завиваясь, падали на дома, разсыпались снѣжными звѣздами.

Алмазили окна и улетали, летали.

Дали темнѣли. Летали дали.

«Только и буду жить для нея».

Лежалъ въ постели. Пробѣгали думы. Открылъ глаза.

Пробѣжали пятна свѣта на потолкѣ: это ночью на дворѣ кто-то шелъ съ фонаремъ.

Другія думы осѣнили его—его другія думы: «ищущій—я: а она? Да, да!».

Открылъ глаза. Набѣжала слеза.

Пятна свѣта по потолку бѣжали обратно: убѣгали невозвратно.

Гадалка.

Въ комнатѣ, обращенная къ треножнику, гадалка махала синимъ шелкомъ.

Это яростно гадалкино разметалось по комнатѣ платье, когда страстно протянула она къ Свѣтловой свои цѣпкіе пальцы; властно вѣщія свои, роковыя объятія.

Прозрачное, какъ облако, лицо Свѣтловой было изможденно въ ней горѣвшимъ восторгомъ.

Очи, — томные токи лазури — точно острые синіе гвозди, — они уходили въ гадалку.

Подавали другъ другу руки и сказали о невозможномъ.

И сказали утомленно; кому-то послали ласку, ласку сердца.

Чѣмъ восторженнѣй ей дышала о миломъ Свѣтлова, тѣмъ углямъ покланялась безстыднѣй гадалка, тѣмъ настойчивѣй на синемъ взвихренныя плясали черныя на ней кружева, какъ взметенная въ небо пыль.

Грѣшные помыслы ихъ выростали: «Яркія встрѣчи ваши снятся мнѣ въ угляхъ, выростая и тая дымомъ, дымкомъ».

Грѣшные помыслы, что томили Свѣтлову, выростали и таяли, таяли, выростали, какъ тѣни ихъ, заплясавшія тѣни ихъ на стѣнѣ.

Окропили бархатно уголья; то склонялись надъ жаромъ, то поднимались.

Красная сѣть пятенъ: какъ ярко-воздушный звѣрь, свои на нихъ полагалъ летучія лапы.

То склонялись, то поднимались. Свѣтъ свои на нихъ полагалъ лапы.

Пурпуровый отсвѣтъ то ползъ снизу вверхъ: то отсвѣтъ ползъ сверху внизъ.

На Свѣтлову глаза поднимались гадалки страстной темью, опускались, страстной темью сверкали, страстной и погасали темью.

Худая гадалка привораживала душу его страстной темью, припадала къ треножнику страстной темью, поднималась и застывала.

На груди ожерелье звякнуло, свѣсилось къ полу съ груди, отъ груди прыснуло блескомъ и оторѣло.

Гадалка сказала:

«Тайны сладость, тайны сладость — потому что на вздохъ еще до встрѣчи онъ отвѣчалъ вздохомъ, на желанье желаньемъ. Онъ всю жизнь васъ искалъ».

«Вы—его».

«До встрѣчи молились другъ другу, до встрѣчи снились. Сладкая у васъ, сладкая любовь. Но кто то встанетъ межъ вами.

«Только молитва ангелу, только умное дѣланье, только ворожба зажженныхъ лампадокъ образъ осилитъ рока между вами.

«Вы молились ангелу. Увидѣли его. Поняли.

«Что онъ не живой, онъ—ангелъ.

«Вотъ завели вы себѣ, живой завели образъ: для новыхъ дѣлъ завели.

«Онъ, только онъ. Вы сгорите въ яростной страсти.

«Только».

Свѣтлова стояла грустно, задумчиво, тихо.

Гадалка—съ кокетствомъ, грѣшной мягкостью, поднесла къ лицу ея набѣленный, морщинистый ликъ.

Свѣтлова спросила взоромъ, а гадалка съ кокетливой мягкостью только сластно поводила глазами—только. Одна просила успокоить, только другая ее истерзала.

Только взоромъ впились другъ въ друга.

И два помысла ихъ сопряглись въ чудовищномъ искусѣ.

Два умысла.

Только встало во взорахъ старинное, вѣчно грустное.

Только встало. Все то же...

Вдругъ губы старухи ожгли лицо красавицы, лучась грѣш-

ной улыбкой. Цыплячьей рукой, точно птичьей лапой, тихонько погладила ее, тихонько ее пурпуромъ дыханія жгла.

И Свѣтлова съ ужасомъ отшатнулась.

Бѣшеный іерей надъ домами занесъ свой карающій мечъ, и уста его разорвались темною пастью—темнымъ воплемъ.

«Задушу снѣгомъ—разорву вѣтромъ».

Спустилъ мечъ. Разодралъ ризы. Залился слезами ярости.

И падали слезы, падали брилліантами, трезвоня въ окнахъ.

Взлетѣлъ.

И съ высей конемъ оборвался: потокомъ снѣговъ писалъ надъ городомъ.

Городъ.

Тѣнь конки, неизмѣнно выростая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Вѣтеръ былъ вьюжный, бодрый.

Кто-то, знакомый, сидѣлъ въ конкѣ. Пунсовый фонарь отражался въ тающемъ снѣгѣ.

Отраженіе мчалось на снѣгѣ, — на таломъ снѣгѣ спереди рельсъ.

Чертило лужи пунсовымъ блескомъ: дробилось и пропадало.

Тѣнь конки, неизмѣнно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Толпы людей, изъ домовъ выбѣгая, бросались въ метель, снѣгомъ дышали, утопали и вновь выплывали.

Кто то все тотъ же, кутила и пьяница, осыпалъ въ ресторанѣ руки лакея серебряными, ледяными рублями: все простуилось въ метель изъ его кошелька и метельныя деньги блистали у фонарей.

Проститутка, все такъ же нападая, тащила къ себѣ, раздѣвалась, одѣвалась и опять выбѣгала на улицу.

Подруга клонилась къ Свѣтловой своей шляпой съ пышными перьями, прижимая муфточку къ лицу ей лукаво шептала.

Свѣтлова, клонясь къ головкѣ подруги шляпой съ пышными перьями, ея мѣховой руки коснулась маленькой муфтой.

Съ лукавымъ смѣхомъ клонились другъ къ другу пышными перьями, оглядываясь на прохожаго, ласково и безстыдно.

Да: въ магазинѣ моднаго платья онѣ утопали въ шелкахъ и атласахъ, то ныряя лицами, то выростая.

Грустный призывъ, изъ пурги выростая, билъ снѣговою струею, сердце ласкалъ, уносилъ, уносилъ.

Его блѣдныя руки тянулись въ пургу, какъ и въ дѣтскіе годы когда-то.

Улыбались друзья. Онъ не видѣлъ друзей: пробѣжалъ мимо нихъ куда-то.

Будто звали его, какъ и въ дѣтскіе годы куда-то.

Третій.

Сѣдой мистикъ клонился, какъ метельный старикъ изъ блѣдныхъ вихрей, и леденѣлая трость хлестала по мостовой. Адамъ Петровичъ клонился въ метеляхъ, и леденѣлыя десницы упали къ нему на плечо.

Снѣжныя руки хрустальныхъ скелетовъ то замахивались надъ ними, то просыпали бѣлоградную дробь.

Мистикъ сказалъ:

«Мететъ: снѣжный дымъ времени мететъ образъ рока и снѣжныя кудри его вамъ провѣваютъ въ лицо».

Пропѣлъ въ пурговомъ хохотѣ: «Кто-то встаетъ между ею и вами».

Побѣжалъ навстрѣчу почтенный полковникъ.

Пѣли крылья, шипѣли, вскипали, и почтенный полковникъ рвался въ пургу бобровымъ воротникомъ.

Да, вотъ—бритое лицо вывихрилось на нихъ изъ бѣлоцвѣтныхъ облаковъ снѣга.

Вывихрилось изъ снѣга.

Вотъ полковникъ накрылъ старца-вьюгу бьющимъ крыломъ шинели; смѣясь, покосился—смѣясь, покосился.

Смѣясь, покосился.

Надъ домами вихряной іерей конемъ вздыбился, конемъ вздыбился.

Вздыбился.

Снѣжный дымъ яро клубился, у его ногъ клубился; и горсть лучевыхъ молній снѣжныхъ зацвѣтали и отгорали.

Его руки копьемъ то замахивались, то потрясали копьемъ и копье, ледяное копье стучало по крышамъ.

Кричалъ въ вихряной ярости: «Кто пойдетъ на меня?»

«Затоплю, проколю его, изсѣку колкимъ снѣгомъ».

Пѣной вскипалъ и пѣну разливалъ на прохожихъ, пѣну.

Точно стаи брызнувшихъ копій слѣпительно просверкали изъ морозныхъ дымовъ снѣга.

Полковникъ стоялъ среди нихъ, точно изъ снѣга сотканный, запорошенный.

Только сказалъ: «Метель завивается».

Махнулъ фуражкой, взлетѣвшей надъ головой Адама Петровича, какъ бы угрожая: «Вотъ тебя... я на тебя!»

«Вотъ я».

Повелъ онъ плечами. Убѣжалъ въ снѣга. Передъ ними плясали снѣга.

Вышелъ изъ снѣга и ушелъ въ снѣгъ.

Вздымился надъ домами іерей—клубящійся іерей, взметенный.

Взревѣлъ: «Все разрушается».

Замахнулся вѣтромъ, провизжавшимъ надъ домами, какъ мечомъ: «Вотъ я: на васъ».

«Вотъ я».

И снѣжилъ онъ парчами. Засквозили снѣга. Въ нихъ онъ промчался.

Вышелъ изъ снѣга и ушелъ въ снѣгъ.

Мистикъ сказалъ:

«Вотъ полковника занесъ надъ вами рокъ, какъ мечъ карающій».

«Бойтесь его: вотъ бойтесь полковника».

Бѣшеный іерей надо всѣмъ занесъ мечъ свой карающій:

«Задушу снѣгомъ: разорву вѣтромъ».

Это былъ метельный іерей, конемъ вздыбившійся надъ домами—въ бриллiантахъ, отгоравшихъ... и зацвѣтавшихъ.

Это льдяныя руки его грозно копьемъ потрясали, въ окно стучали.

Точно вихряною местью разсыпался, вновь вставалъ. И вновь разсыпался. И несся лѣсъ копій всадниковъ старинныхъ, вѣчно метельныхъ, мстителей все тѣхъ же.

Вторая метельная ектенія.

Шелъ въ снѣгахъ ясный странникъ.

Морозный бархатъ похрустывалъ у его ногъ и горстями брилліантовъ по снѣгу разлетался.

Но покинутый городъ то грустно обертывался, то вздыхалъ и несъ въ просторы молитвенный медъ.

«Тамъ взроился мой улей. Они тамъ меня ждутъ, только и думаютъ обо мнѣ».

Вѣтеръ вздохнулъ: «Ну, только ждутъ».

Поцѣловалъ: ахъ!—бросилъ подъ ноги золотой рой.

Бросилъ.

И стая солнечныхъ пчелокъ ринулась на него: облѣпила золотомъ ноги.

Въ Тебѣ, Господи,—снѣгъ, въ Тебѣ, Господи,—счастье.

Небомъ Ты—лебедь, небомъ Ты—бѣлый, смертію смерть поправъ, Ты надъ нами возсталъ.

Перьями бей въ лазури, снѣгами ризъ—провѣй, одари.

Да: пропоютъ снѣговые псалмы на метельной обѣднѣ.

Господу помолимся.

Кровь заката багряная виномъ снѣжнымъ вскипѣла: причастники приступите.

Проливайся, пѣна метельная, пѣна метельная, пѣна.

Проливайся пѣна.

Гласы, гласы свои надъ землей изрекайте, о Господѣ воздыхайте!

Орари, діаконы,—

орари бросайте, въ небо бросайте, діаконы снѣжные.

Господу помолимся.

Ясный странникъ пришелъ въ лѣсъ.

У избы мягко онъ постучался; тамъ въ окнахъ бриллианты огоньковъ зацвѣтали горстями и разбѣгались.

Это старицы то зажигали свѣчечки, то раздавали молитвенникамъ свѣтовые пучечки.

У двери его вопрошали:

«Кто тамъ стоитъ при дверяхъ и стукомъ просится?».

Странникъ сказалъ: «Я—ваша радость».

Руки на нихъ возлагалъ, и въ виссонъ облекся бѣлый.

Ахъ, стая огненныхъ пчелъ вылетала изъ кадила, когда онъ вздулъ его!

Ты, Господи, Ты—неотцвѣтный, Господи, цвѣтъ.

Ты, Господи,—снѣгомъ, снѣгомъ Ты проходишь: снѣгъ такъ лазурью пронизанъ, какъ плоть неба окомъ.

Снѣгъ такъ лазурью пронизанъ, какъ сквозной одуванчикъ.

Такъ снѣгъ пронизанъ.

Сквознымъ, бѣлымъ одѣнь кружевомъ.

Иныхъ одеждъ не знаемъ, вьюгу разумѣемъ.

Вьюгѣ молимся.

Улей видимъ воиновъ бѣлыхъ: медоносныя пчелы Господни: сладкій онѣ, душистый онѣ, съ душъ медъ, — молитвенный медъ онѣ собираютъ.

Вьюгѣ, вьюгѣ сердца ваши, вѣрные, открывайте, жаднымъ пчеламъ сладость молитвенную передавайте.

Пчелы, несите вы медъ въ улей, несите; и ко Господу всѣ съ мольбой усердно припадемъ.

Ты, Господи, Ты помилуй.

Царственный странникъ, ясный.

Взялъ благочинно онъ книгу, ее вознесъ и ей сердца окропилъ.

Ницъ молитвенники падали.

Ринулись къ полу горячія свѣчечки, точно подъ ноги ему бросили горсть бриллiантовъ.

Но онъ не упалъ.

Въ золотомъ отъ свѣчъ воздухѣ то повертывался направо, то налѣво, и замахивался кадиломъ.

О Тебѣ, Господи, тайна и, Господи, о Тебѣ слово вихремъ благимъ намъ въ сердца глаголетъ.

Въ облакѣ снѣжномъ, во столбѣ, во метельномъ къ намъ сойди, къ намъ.

И намъ, намъ скажи: «Я—съ вами».

Намъ скажи.

Жениха громче исповѣдуйте, громче,—какъ снѣгъ бѣлаго, громче.

Гремите, гремите, ахъ, рога вихряные!

Громче вопите, громче, все вопите громче: се во снѣгъ одѣлся женихъ, се грядетъ метелью.

Гряди, метель, гряди!

Странникъ читалъ имъ невѣдомую молитву:

«Се въ небѣ не лебедь, какъ изъ снѣга сотканный.

«Се не лебедь, а солнце.

«Господи,—Солнце наше.

«Метель сердца обуреваетъ наши, чтобы молитвой и снѣгомъ окурить Престолъ Свѣтлый».

«Прими, Солнце, моленія наши, и, о, Господи, возьми насъ къ Себѣ!

1906 года, Серебряный Колодезь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СКВОЗНЫЕ ЛИКИ

Мраморный геній.

О, вода,—ревъ пѣны, о, серебряное кружево!

Надъ бассейномъ, какъ птица сквозная, ты брызнула летомъ.

Брызнула летомъ: стала хрустальнымъ щитомъ. Изнемогла, ниспадая трескучимъ хрусталемъ.

Ахъ, хрустали!

Гремите, гремите, хрустали золотые!

Громче гремите, хохочите громче, гремите громче—падайте фонтаномъ, падайте!

И брызгами смѣха оплакивайте восторженно.

Изъ-подъ сквозныхъ хрусталей кружевныхъ, кружевныхъ, сквозныхъ, бѣлая грустная голова, замирая, плыла надъ брызгами мраморной глыбой.

Изъ-подъ хохота, воднаго хохота, хохота онъ возставалъ, точно рокъ, обезумѣвшимъ лицомъ.

Бѣлый ниспавшій хитонъ, расшитый фонтанными перлами, точно струился на старомъ. Изъ-за перловаго воднаго тока онъ выплывалъ большой головой, бѣлой, въ горькомъ порывѣ, какъ неизмѣнное время, восшедшее смѣхомъ мгновенныхъ потоковъ: водяныхъ, вверхъ взлетѣвшихъ, мгновеній.

Спереди казался мраморнымъ императоромъ, увѣнчаннымъ серебянымъ вѣнцомъ лавровъ.

Широкое чело вверхъ убѣгало лысиной, съ темени метущей струйные снѣги сѣдинъ.

Громадный его силуэтъ въ сверкающемъ блѣдномъ хитонѣ, какъ геройское изваяніе, снѣжно тускнѣлъ изъ водометнаго тока.

Изъ-за трескучаго плеска блѣдно вѣяла сѣдина, блѣдно вѣяла шапочка: блѣдно вѣяла шапочка одуванчика императора мгновеній.

Изъ-подъ вздернутаго носа, изъ-подъ широкихъ ноздрей улыбались блеклыя губы туманному времени.

Безусый напудреный ликъ не то женщины, не то генія, какъ томный утренній мѣсяцъ, взошелъ надъ фонтанными брызгами.

Отраженный измученный ликъ, воздушно упавшій въ плески и стекла, тамъ мертво плясалъ и тамъ кивалъ насмѣшливо.

Стальной зубецъ, копье времени, сжатое пальцами, перьями сверкало свѣтлыхъ блесковъ, и у стального зубца, копія, вздыхала мертвая голова.

Воздушная груда годовъ отпылала на перлахъ, а онъ стоялъ, неизмѣнный, а онъ сталъ тотъ же, въ перловое время облеченный.

Въ пурпурѣ, въ пурпурѣ розъ, тускло горѣвшемъ изъ перловъ, какъ въ ореолѣ огня, лицо мертвѣло, лицо: горькое, его мертвѣло, какъ ликъ воздушнаго мѣсяца, безполезно лазурью пропитаннаго лѣтнимъ денькомъ, и какъ горсть оледенѣлаго снѣга, обтаявшаго лазурью по краямъ.

Фонтанъ—мраморный лебедь, разметнувшій крылья и изъ зѣва бьющій хрустальнымъ временемъ.

Лебединая пѣсня хрустальнаго времени.

Смѣхъ изливаемыхъ слезъ, серебринокъ, слезинокъ; дѣтская грусть, и переливная, вѣчная грусть.

Фонтанъ—мраморный лебедь, разметнувшій крылья, чтобъ изъ зѣва струить въ поднебесье хрустальное время.

Полковникъ Свѣтозаровъ стоялъ тамъ, какъ гигантъ, въ утреннемъ халатѣ, испещренномъ пятнами свѣта, и съ копьемъ вмѣсто трости.

Изъ-подъ черныхъ, темныхъ бровей сѣрыя горькія очи уходили въ пространство: тонули уныло; грустный, онъ казался сбоку щукой, изъ воды глядящей на солнце: не простой, а сребоперой.

Изъ-за водъ, изъ зеленыхъ кустовъ, изъ-за пурпуровыхъ кистей спереди онъ возникалъ и, какъ большой мраморный звѣрь въ металлическомъ вѣнкѣ, онъ бросался въ водопадъ солнца.

И казалось, это — время, это — туманный тріумфаторъ:— вотъ что тянулось изъ перловъ, изъ плесковъ, изъ солнечныхъ листьевъ.

Вотъ что.

Слезныя тучи цвѣтовъ (тучи старинныхъ порывовъ) рукой обрывалъ полковникъ и перстнемъ чертилъ на кустѣ алмазный зигзагъ.

У мраморной арки сидѣла его мать, склонясь надъ вязаньемъ,—столѣтняя женщина, многолѣтняя.

Казалось, что это—пунсовое платье и шаль изъ пуха.

Казалось, что это—багряная съ головой одуванчика карла.

Въ скорби, поникла она пунсовымъ лоскутомъ, лепесткомъ о, раздавленный на пескѣ настурціи!

Тамъ передъ ней, какъ большіе аккорды, какъ большіе взлетѣли колонны: колонны мраморной арки, озерною синью безполезно оясненныя.

Блѣднѣлъ мѣсяцъ, — грустилъ сквозной одуванчикъ, сквозилъ безполезно лазурью лѣтнимъ денькомъ.

Свистки вѣтра — гульливые колокольчики — колкими надъ пихтою вплились пчелками, надъ пихтою вились.

Взвизгнула укушенная пчелой, сквозная, отъ старости кружевная, старушка.

Хлестнула огненной лопастью и надъ раздавленной колючкой, мертвяная, изогнулась.

Изъ-подъ хрустальнаго тока надъ милліонами брызгъ опрокинулся старый полковникъ, какъ старинная старина надъ безысходнымъ исходомъ.

Изъ-подъ лебединаго зѣва хрустальный фейерверкъ, плача золотымъ водометомъ, низвергался на мраморъ.

Изъ-подъ застывшей жизни старый Свѣтозаровъ, какъ большой горюнъ, руки любви протянулъ.

Изъ-подъ складокъ временъ любви его выплылъ ликъ, ея ликъ: какъ изъ облака солнце. Манилъ и звалъ.

Манилъ и звалъ.

Изъ-подъ хрустальнаго кружева брызгъ въ водопадъ изъ вѣтра и солнца онъ бросался ловить ея взгляды, улыбки.

Видѣлъ—въ сверкающихъ струнахъ солнца въ вышинѣ понеслись перистые клоки блѣдноозаренными лилеями: въ вышинѣ ея руки неслись, ея.

Такъ: она играла на солнечной арфѣ.

Такъ: неслась мимо ея, мимо, струнная пѣснь.

И старушка скорбно поникла тамъ вдали, точно плакались багряныя перья ея капота, отмахиваясь отъ будущаго.

Такъ: кидался Свѣтозаровъ въ водопадъ солнца, упадавшій съ неба скалы голубой:

«Слышу, слышу.—Это ты кому-то сулишь воскресеніе, потому что ты любишь кого-то».

«Довольно,—потому что скоро вашъ смѣхъ облетитъ, пролетитъ».

«Пора,—потому что солнце сядетъ: потому что оно сядетъ, когда изсякнетъ любовь».

Тамъ, чуя, старушка въ страхѣ зажмурила очи,—и солнце ей взоръ пронзило иглами: въ глазахъ ея танцовали нѣжныя павлиньи перья.

Руки его, ненюфоры его, протянулись коварно впередъ, коварно блеснувъ бриллiантовымъ перстнемъ, какъ бы коварно грозя сопернику.

Груды столѣтій низвергались хитономъ съ его плечъ—груды лѣтъ, отемненныхъ разгуломъ,—и онъ своимъ тряхнулъ копьемъ.

Струевая ткань перламутра оковала его руку: онъ не могъ разбить перламутръ фонтаннаго смѣха.

Тысячи серебринокъ взметнулись надъ полулысиной какъ бы въ ужасѣ, будто взвѣянная въ воздухъ, взбитая вѣтромъ водичка.

На него изогнутой шеей точно кинулся мраморный лебедь и обдалъ студенымъ трескомъ сѣкучихъ хрусталей.

У полковника ширились очи, двумя властными изумрудами сверкнули, когда ужалилъ копьемъ бѣлокрылаго онъ лебедя.

Каменный лебедь, съ золотой колонной трубившій изъ зѣва струю, онъ также жаловался на время:

«Не тебѣ жена, не тебѣ, не времени.

«Не тебѣ жена, не тебѣ, а мнѣ жена: мнѣ солнце».

«Не тебѣ, а мнѣ».

Вытянулъ шею, кричалъ—и кричалъ:

«Это я ей жизнь—крылатый ангелъ. Это я ей неизмѣнно».

«Это я—призывающій отъ времени».

«Я, я: это—я».

Такъ: лучами солнце звякнуло въ вышинѣ, какъ легли на нихъ—на нихъ, на лучи, облачныя руки ея блѣдно въ лазури истекающими лилеями.

Такъ: на бирюзовой порфирѣ неба прыснули золотые шелка волосъ.

Такъ.

И она крикнула: «Ты, лебедь, ты, — бѣлый, ты: лети ко мнѣ, изъ снѣга сотканный».

«На моей ты бирюзѣ хлещи поднебеснымъ веромъ.

«Крылатый, крылатый!»

«Ты пой, улетая!»

И Свѣтозаровъ потрясалъ копьемъ, восклицалъ:

«Страсть, — ударное горе: сѣдая страсть, — обманщица, смерть».

«Лавинный ревъ, прогрохотавшій пустотой».

Бѣлый старикъ прозіялъ въ зелени, испещренный золотыми пятнами, точно тѣло бросили на него золотое,—золотого воздушнаго гепарда.

До пояса струйная борода и синью сѣкущіе взоры бросались въ кусты изъ-подъ соломенной шляпы, когда онъ къ бассейну шелъ въ своемъ лѣтнемъ сюртукѣ.

Это былъ знаменитый мистикъ; прощался съ пространствомъ: вѣдь хотѣлъ кануть въ затворѣ.

Золотой ярый гепардъ, возникавшій изъ пятенъ эѳира, полагалъ ему на грудь свои воздушныя лапы, и онѣ, будто вѣтеръ, терзали сюртукъ старика.

Но старикъ раздвигалъ свисающіе кусты и воздушно-золотой гепардъ разрывался тѣнью и свѣтомъ.

Вотъ, какъ серебряная ткань, борода его провѣяла, какъ бѣлый прахъ, летящій съ дорожки.

На немъ свѣточка золотая сквозь липы плясала, солнечная.

Пора, скоро солнце все охватитъ и станетъ жарко.

Его встрѣтили дѣти крикомъ: «здравствуй, здравствуй. — Это ты тамъ вскочилъ бѣлымъ песочкомъ у входа въ садъ, потому что тамъ отъ вѣтра пляшетъ песочекъ».

Сказалъ имъ, шутя: «Да, да».

Скоро упорхнули дѣти въ блѣднорозовомъ — въ кисейно-розовомъ.

Вотъ, какъ лиліи, изъ газа выросли ручки и на нихъ сѣла бабочка, анютинъ глазокъ.

Вотъ, какъ мудрая смерть, влекся уставшій мистикъ къ полковнику Свѣтозарову, бормоча:

«Пора,—пора сдернуть покровы двусмысленности. Налетѣть вѣтромъ: обличить смертною тайной».

«Пора—потому что иначе будетъ поздно».

Изъ-подъ клокочущихъ, пляшущихъ слезъ, изъ-подъ жалобой изрыдавшейся ткани водной они сквозили блѣдно-протянутыми силуэтами.

Громадный гигантъ, какъ охрусталенная статуя, въ глубокомъ безмолвіи взвилъ свое засверкавшее коніе, а рука его судорожно валетѣла къ лицу, и изъ закрывшей лицо ладони высилась зубчатая серебряная корона его сѣдины, да выдавался вздернутый носъ и сверкавшіе зубы широко раскрытаго рта.

Такъ онъ стоялъ, какъ хрустальный король; и въ бассейнѣ онъ же плясалъ, зубьями короны взрѣзая водную синь.

Изъ-подъ струй упорно костенѣлъ надменный пришелецъ, и борода его теперь заклокотала пѣнным водопадомъ въ бассейнъ.

Глаза его, безстрастно воздѣтые надъ серебрянымъ геніемъ, холодно измѣряли съ ногъ до головы: будто спокойная смерть, искони побѣждающая безысконное, измѣряла время. Ихъ туманныя очертанія точно плясали подъ вскипѣвшимъ слезнымъ потокомъ.

Но это только казалось.

Изъ-подъ кружева временъ, какъ изъ-подъ кружева воды, они говорили неизвѣстно о чемъ, какъ конецъ съ безконечностью, какъ безвременье съ временемъ.

Вотъ блѣдно изваянный гигантъ, какъ мраморный рокоборецъ, укрывая на груди пришельца безбородое лицо, схватилъ его руками, стараясь оборвать въ клокочущее время бассейна.

Но это только казалось.

Свѣтозаровъ упалъ на мраморъ бассейна, окунулъ лицо свое въ струи, проливая перлы слезъ и обливаясь перлами, а старый мистикъ, костенѣя безстрасно, воздѣлъ свои очи въ небеса.

Но казалось, что онъ пролился бородою въ бассейнъ, изошелъ бѣлой пѣной каскада, потому что полковникъ былъ одинъ.

Тогда красная сутулая горка разорвала зеленую завѣсу кустовъ, и подъ красной горбатой спиной, какъ подъ вершинкой, качалось морщинистое лицо въ ореолѣ ліонскихъ кружевъ.

Она метала въ полковника очковые глаза и со стеколъ брызнули въ него тысячи солнечныхъ иголъ.

Свѣтозаровъ ей говорилъ: «Опять волнуетесь, матушка. Ничего—это прощался со мной извѣстный мистикъ, покидающій наши края, чтобы уѣхать въ монастырь».

Какъ большой одуванчикъ, залетѣвшій надъ старушкой, колко бритымъ лицомъ онъ прижался къ рукѣ матери, снѣжнымъ фонтаномъ волосъ надъ носомъ ея провѣялъ, словно туманный ликъ безбородаго генія времени въ ореолѣ серебряныхъ листьевъ.

Изъ-подъ смеженныхъ рѣсницъ головы, упавшей на мраморныя перила, уставились слезой овлажненные изумруды и изъ бассейна онъ же лукавымъ страхомъ себѣ подмигивалъ.

Его бѣлый халатъ пролился на бассейнъ мраморными складками, и весь онъ казался статуйнымъ геніемъ, изваяннымъ у бассейна.

На блѣдно мраморномъ очертаніи изломанный сукъ пурпуровыхъ розъ качался и пылалъ яркими пятнами.

Такъ сидѣлъ изваянный геній, испещренный пятнами крови, хрустальнымъ очертаніемъ. Изъ бассейна, гдѣ словно канулъ строгій пришелецъ, взревѣлъ кто-то пѣнный, и его струистая борода развѣвалась въ небо водянымъ дымомъ.

У его ногъ плясала яркая сѣть солнца, какъ большой золотой леопардъ.

Воздушный леопардъ кидался лапами на грудь вѣчнаго генію, но онъ не повертывалъ головы къ золотому звѣрю, замурлыкавшему вѣтромъ.

Гремите, гремите хрустали водяные, гремите, все гремите громче—хрустальнымъ зонтомъ заплясавшіе хрустали!

Зацвѣтающій вѣтръ.

Надъ многоствольной рощей всталъ снопъ благоносныхъ свѣтовъ и улетѣлъ въ бирюзу.

Палъ на березки: легъ подъ березками въ одну лучистую сѣть.

Березки качнулись: и все пропало.

Ты, березка,—зеленая солнечная сѣть.

Бросила въ вѣтеръ вершину: солнце попалось.

И золотыя рыбки запрыгали у корней.

Ты, солнце,—клубокъ парчевыхъ нитокъ.

Встало: стали разматывать—и парчевая желтизна сквозной паутиной опутала луга и лѣса.

«Здравствуй, здравствуй».

«Это я прилетѣлъ вздохнуть о воскресеніи, потому что всѣ воскреснемъ, потому что всѣ увидимся тамъ».

Открыла глаза.

Въ сверкающую щель ставни рвалась свѣтозарная струйка и ложилась на стѣнѣ блѣдностраннымъ, узорнымъ пятномъ.

Слышался глубокій вздохъ, который давно начался и не могъ кончиться.

Это шумѣли деревья.

Это былъ день большого вѣтра.

И сиреневые кусты, охваченные вѣтромъ, утишали грусть и точно все спрашивали о чемъ-то.

И она, охваченная вѣтромъ, раздвигала кусты и точно рвалась куда-то.

И сиреневые кусты, охваченные вѣтромъ, отмахивались отъ невидимыхъ объятій и поцѣлуевъ.

Ходила въ саду, усмиренная—неподвижная.

Она ходила въ кружевной шляпѣ, точно солнце въ бѣлопѣнныхъ облачкахъ.

Замирала, осыпанная солнечными колосьями—звонко пѣвшими струнами.

Обрывала, осыпанная цвѣтами, солнечные колосья,—звонко пѣвшія струны.

Замирала, осыпанная оборванными звуками, — солнцемъ и воспоминаніями.

Бирюзовымъ шлейфомъ, озеру подобнымъ, точно рвалась изъ времени, и руками точно отмахивалась отъ дней.

Довольно.

Скоро онъ заблеститъ—прилетитъ.

Губы ея пирнослалкія засохли, шептали призывно, какъ вѣтерокъ.

Пора,—потому что онъ прилетитъ, и въ немъ угаснетъ время.

Пора,—потому что воздухъ сквозной, какъ арфа съ натянутыми золотыми струнами.

Пора, — потому что онъ проведетъ руками по солнечнымъ струнамъ и споетъ ей свою лебединую пѣснь.

Нежданно, пухъ, точно снѣгъ, у ея ногъ мелькалъ, взлеталъ.

Къ нему она тянулась, къ нему.

Потому что онъ скажетъ ей слово, и совьется золотое время.

Такъ шумѣли деревья.

Такой былъ день большого вѣтра.

Такъ блаженно взмывалась взоромъ въ пространство, гдѣ тающее облако, точно отмахивалось отъ пролетовъ медоваго вѣтра, удивленно лѣпившихъ его, и точно дышало пухомъ въ бирюзу.

Тамъ кто-то милый, милый звалъ ее, какъ и въ дѣтскіе годы куда-то:

«Здравствуй, здравствуй».

«Это надъ тобой я вздохну о воскресеніи, потому что всѣ воскреснемъ и увидимся тамъ».

И его она удивленно точно спрашивала о чемъ-то.

Солнце!..

Вездѣ оно, солнце. Золотое солнце. Милое солнце. Солнце-кольцо.

Солнце!

Скорѣй струны свѣта протяни, златовѣйныя струны, солнце, вездѣ натяни!

Вотъ парчевой желтизной, какъ сквозной паутиной, коснись, какъ фатой, пролети надъ моремъ деревьевъ.

Золотой фазанъ, коснись своими червонными перьями!

Напои свѣтомъ утреннимъ!

Скоро солнце изсякнетъ и опустится на западъ.

Такъ, сгорая, прейдетъ образъ міра сего.

И надвинится незакатное, безсрочное. Скажетъ:

«Пора и мнѣ въ этотъ старый міръ».

Солнце, солнце, это ты сѣтью качнешься подъ березками, потому что ты утонешь и отсвѣты пролетятъ.

Это твои золотыя рыбки изъ березовой сѣти, блистая, прольются въ океанъ.

Адамъ Петровичъ гулялъ, задумчивый, легколетный отъ восторга, какъ птица.

Бирюзовое озеро, словно порфира царевны, словно легко-сапфирный сонъ о ней волновалось у ногъ, то чернѣя, то золотѣя.

И на немъ бѣжали бѣлопѣнные гребни.

Точно на волны бросили серебрянаго лебедя съ распластанными крыльями, и вотъ онъ плылъ къ горизонту.

За нимъ тянулась цѣпочка изъ серебра.

Стрекозы неслись... Хрустальныя крылья тонули въ небѣ.

Въ свѣтоловныхъ сѣтяхъ воды билось солнце, точно пойманный уловъ рыбы.

А она бродила въ пространствахъ, то бѣлѣя, то вспыхивая о немъ.

И на бирюзовомъ, какъ озеро, платьѣ серебряный лебедь—поясное зеркальце, привязанное къ цѣпи—казалось плавалъ, когда она играла цѣпочкой, точно отмахиваясь отъ объятій и поцѣлуевъ.

И сквозныя пуговицы, точно стрекозиныя крылья, блистали хрусталемъ.

И онъ шепталъ: «Пора мнѣ узнать ее».

«Пора сдернуть покровы, взглянуть въ лицо.

«Сказать о Словѣ.

«Наша жизнь—пролетающее облако».

«Вотъ, какъ бѣлый лебедь, несется, несется.

«Она, какъ и я, теперь видитъ лебедь—облако, потому что надъ нами оно взошло въ неизмѣнное».

«Оно плыветъ: плыветъ и поетъ».

Такъ, истаявъ, прейдетъ образъ міра сего... на родинѣ... на неизвѣстной родинѣ.

Ты, облако, сквозной клубокъ пушинокъ.

Взошло: вѣтры стали развѣивать, и пухомъ оно задышало въ бирюзу.

Ты, облако, большой сквозной одуванчикъ.

Взошло: вѣтры стали развѣвать, и оно протянулось фатою снѣжинокъ.

Но всталъ токъ большого вѣтра, большого медовича, и очистилъ отъ пуха небеса.

Палъ на одуванчикъ и обвѣялъ: и погналъ прочь по лугу блѣдно свѣянныя шапочки.

И шумѣли деревья.

И былъ день большого вѣтра.

И сторукіе кусты, охваченные вѣтромъ, глухо волновались, и кто-то надъ самымъ ухомъ его ласково приговаривалъ.

«Здравствуй, здравствуй!

«Это я прилетѣла шептать о воскресеніи, потому что всѣ воскреснемъ,—милый, мой милый,—и увидимся тамъ».

Обернулся.

Трепетала юная березка, да тонконогій комаръ, глупо заплясавъ, надъ нимъ изъ блеска упалъ и звенѣлъ ему на ухо.

И она шептала:

«Воскреснемъ, мы воскреснемъ...»

И вѣтеръ гналъ новое облако, такое же бѣлое, какъ и истаявшее.

Въ сверкающихъ струнахъ солнца рвались ея руки и ложились на струны причудливыми лиліями.

Сверкающимъ брилліантомъ терзала струны голубая арфистка и клонилась къ арфѣ, точно пуская на волю воздушныхъ, звучныхъ птицъ.

Это она играла на солнечной арфѣ.

Это неслась къ нему ея струнная пѣснь.

И тамъ, въ пространствахъ, молчалъ онъ, охваченный звуками, не отмахиваясь отъ звучныхъ плесканій невидимыхъ райскихъ птицъ, слетѣвшихъ къ нему и рожденныхъ воздухомъ.

«Слышу, слышу.

«Это ты мнѣ поешь о будущемъ воскресеніи, потому что и ты воскреснешь: мы увидимся тамъ.»

Замиралъ. Солнце взоръ пронзило иглами: въ глазахъ танцовали нѣжныя, павлиньи перья.

Это были перья воздушныхъ птицъ, потому что онъ открывалъ глаза, и все пропадало.

Голосами, воздуху подобными, райскія птицы звали его на вѣчный пиръ.

Невольно, быстро одуванчикъ съ муравы сняла, въ воздухъ сквозную головку улыбчиво вознесла—блѣдную шапочку сдунула.

Плеснула воздушная шапочка пухомъ нѣжнымъ, какъ вздохъ.

Она сказала: «Милый, какъ и все, пусть летитъ къ тебѣ пухъ...»

«Пора,—потому что если душа небомъ, какъ пухомъ, не просквозитъ, солнце въ тѣло не возжется.

«Пора,—потому что если не все отдать, все угаснетъ.

«Пора,—потому что мы любимъ другъ друга».

Торопливо шла, охваченная цвѣтоплясомъ, отмахиваясь отъ бабочекъ.

Невольно, безвластно склонилась у водометной струи. Фонтанъ шепталъ, блисталъ:

«Пора,—потому что если не все отдать, все прейдетъ, все угаснетъ».

«Потому что солнце сядетъ, вода упадетъ скатнымъ жемчугомъ, и отцвѣтутъ на струяхъ хрустали золотые».

«Пора,—потому что любовь пройдетъ, и угаснетъ жизнь.»

«Потому что и любовь упадетъ въ свѣтобойную темень».

Вѣтеръ свѣялъ на него блѣдныя шапочки одуванчиковъ.

Медовичъ, точно поцѣлуями, снѣжинкой-пушинкой его щекъ коснулся.

Шапочки то плескались въ воздухѣ, то садились кружевомъ на него.

А по озеру бѣжали золотыя кольца: точно на бирюзу воздушная, лѣтняя царевна бросила шелка свои, волоса свои—змѣи свѣта,—и вотъ змѣи свѣта ослѣпительно свивались въ разбитомъ зеркалѣ пляшущихъ водъ.

Стрекозиныя крылья тонули въ водѣ.

Лебедь понесся, лебедь вскрикнулъ.

Вышелъ на сушу, бѣлый, крылатый. Крикнулъ:

«Пора и мнѣ».

Вытянулъ шею и кричалъ, и кричалъ:

«Я это—жизнь, улетающая птица, милая, милая».

«Я это—птица—поднимусь тонуть въ воздухѣ».

Лебедь глядѣлъ на него неизмѣннымъ.

Ему казалось, что передъ нимъ образъ міра, отлетающій на родину.

Вѣтеръ взвѣялъ шелка ея, медовые, точно струи ананаснаго сока.

Руки ея словно ловили воздухъ, плавая, то бѣлѣя, то зацвѣтая свѣтомъ.

И на платьѣ танцовали волосъ ея кольца.

Точно на озеро солнце бросило лучи свои—змѣи,—и они сверкали хрусталемъ.

Лебедемъ—поясным ъ зеркальцемъ—взмахнула, зеркальце цѣпью звякнуло.

Сверкнуло въ воздухѣ птицей, свѣтомъ.

Она крикнула: «Пора и мнѣ любить». Она оборвала двѣ золотыхъ солнечныхъ струны и ими сверкала по воздуху.

Вытянула шею, взмахнула руками, сжавшими струны, и точно по воздуху пролетѣли блестки.

Вытянула шею, всплеснула руками, разсыпала золото волосъ и пѣла, и пѣла:

«Зацѣлую тебя, милый, сладкоалыми устами моими».

«Люби меня, милый,—я тебѣ жизнь, улетающая птица.»

«Птицу лови, а то—улетитъ.»

«Я—въ неизмѣнномъ, я для тебя все та же, все та же,—милый, мой милый.»

Ей казалось, что несетъ ихъ образъ міра сего на родину—на родину.

Надъ березками стоялъ снопъ благоносныхъ свѣтовъ. Улетѣлъ въ небеса.

Легъ подъ деревьями свѣтозарными, текучими зайчиками.

Но деревья качнулись. Яблочки побѣжали.

Все пропало.

Солнце, клубокъ парчевыхъ нитокъ, въ небѣ стояло: его устали разматывать.

Но парчевая желтизна сквозной паутиной еще пеленала березки.

Увидѣлъ нежданно.

Скокомъ на него кто-то летѣлъ, блестѣлъ.

Вотъ бѣлый арабскій конь, какъ птица, понесся надъ моремъ колосьевъ.

И опрокинутая на нивѣ тѣнь вмѣстѣ съ конемъ плыла неизмѣнная.

Онъ подумалъ:

«Это не она на конѣ несется въ часъ, когда угасаетъ солнце.»

Такъ, качаясь на спинѣ у коня, будто она мчалась въ въ поляхъ образомъ міра.

Будто опять понеслась—надвигалась безумнымъ видѣніемъ.

Подумалъ горько: «Здравствуй, здравствуй».

«Опять не ты пролетаешь дразнить воскресеніемъ, потому что ты знаешь, что это невозможно».

Искрометная, какъ сапфирная молнья, амазонка рвалась прочь отъ коня и ложилась на молочной конской спинѣ лазурнымъ пятномъ.

Слышался конскій скокъ, который давно начался и не могъ кончиться.

Это точно она мчалась мимо усадьбы, гдѣ онъ гостилъ.

Эта была не она... нѣтъ, она.

Синіе глаза его охваченную скачкой спросили о чемъ то, но пронеслась она, точно отмахиваясь хлыстомъ отъ его взоровъ.

Скоро она пролетѣла. Темнѣло...

Пряди шлейфа прошептали невнятно, словно летъ воздыхающихъ листьевъ.

Темнѣло—и угасло старое солнце.

И домой повернулъ, вздохнулъ.

Голосомъ, вѣтру подобнымъ, призывно кликалъ подругу:

«Пора, потому что когда все пролетитъ, то угаснетъ время».

Ты, солнце—клубокъ парчевыхъ нитокъ: сѣло, стали сматывать.

И желтоносная пыль — лучей цвѣтень—метнулась съ березокъ и опылила облака.

Надъ міромъ стоялъ стонъ благоносныхъ свѣтовъ. Но онъ истаялъ.

Березки метнулись. Цвѣтень угасла.

Воздушный набѣгъ.

Ландо остановилось.

Негры въ красныхъ ливреяхъ, словно ниспали съ запятокъ, отворяя дверце: негры-моськи съ оттопыренными, какъ листъ піона, алыми губами, то склоняясь, то сіяя яркими позументами.

И изъ ландо бѣлая встала статная статуя, метнувъ искряное насѣкомое сребромъ.

Ниспали, склоняясь, сіяя—негры: встала, метнувъ искру сребромъ.

Точно генія, окропленнаго сѣдыми перьями блеска, одѣли въ китель, стекающій дорожкой искряныхъ насѣкомыхъ—эксельбантами—и вотъ онъ снялъ свою фуражку.

Морды коней, ясныя отблескомъ золота, гордо гнулись, когда натянулъ кучеръ вожжи.

И полковника Свѣтозарова вели изъ кареты красные рукава, окружали губастыя морды.

Отворились двери. Встрѣтилъ дворецкій и согнулъ голову: баки о грудь разбились шумными, пѣнистыми сѣдинами.

И повелъ. И повелъ.

Свели—отворились двери. Дворецкій встрѣтилъ пѣнистыми сѣдинами. И повелъ. И повелъ.

Когда ускользалъ дворецкій, положивъ карточку на подносъ, Свѣтозаровъ оправилъ молодецкую грудь, гдѣ все сіяло блескомъ рѣзныхъ орденовъ и медалей.

Когда ускользалъ дворецкій, мраморный профиль гордо выросъ среди комнатныхъ пальмъ.

Когда изъ волнъ муаровыхъ драпри выплывалъ хозяинъ, струистыя завѣсы дверей, какъ зеленые колосья, заколебались, и косые лучи солнца, дробимые колосомъ, побѣжали на бѣломъ пиджакѣ толстаго, какъ дельфинъ, пловца звякнувшаго тяжелыми брелоками.

Странно повисъ и плавалъ гортанный голосъ въ волнахъ комнатнаго безмолвія. Странно качнулась морда дельфина изъ волнъ муароваго моря. Странно пухлые плавники трепыхались и бились на чесучевомъ жилетѣ.

Раздался, качнулся, и бились—странно, странно: качнулся, и бились странно.

Странная, странная странно качнулась головка чешуйчатымъ гребнемъ, уйдя въ подбородочный жиръ.

Униженно схватился дельфинъ плавникомъ за протянутую руку полковника. Униженно протрепеталъ чесучевой своей чешуей и чесучевыми панталонами. Униженно встрѣчалъ милліонера инженеръ Свѣтловъ.

Всхлипнули губы насмѣшкой у гостя—пѣны шипомъ, укрытымъ въ сахарной улыбкѣ. Былъ онъ—подводный гротъ съ ноздреватымъ лицомъ, съ сталактитами, когда всхлипнулъ шпорами. Дрогнули ноздри, дрогнуло какъ хрусталь ледное лицо, когда исчертилъ онъ дверь, ведущую въ будуаръ, изумрудами глазъ, проходя въ кабинетъ.

Дрогнула портьера въ будуарѣ, и оттуда выглянуло лицо юной русалки. Дрогнула юная русалка, проходя мимо затворенной двери кабинета.

Одинъ схватился за руку, протрепеталъ, встрѣчалъ; всхлипнулъ, изумрудами глазъ зачертилъ другой. И дрогнула третья, дрогнула.

Когда бѣлый толстый дельфинъ, волновался, и возмущенный сюртукъ сквозными шуршащими чешуями точно рвался отъ сего, то свѣиваясь шелкомъ, то развѣиваясь, и вдоль малахитовой доски стола бѣжалъ на полковника одутловатый ликъ инженера, припавшаго грудью къ столу, и точно умоляя приподнялись пальцы его, испещренные огнями бриллiантовъ.—

тогда лицо Свѣтозарова—мѣсяцъ, наполненный денежнымъ блескомъ серебра,—гордо опрокинулось на спинку рѣзного стула и пролились бѣлыя пряди его волосъ, волнуемыя вѣтромъ; тогда слова инженера налетали на полковника, пролетали мимо его ушей.

Точно вѣтеръ разбивались о мраморное изваянiе.

А тамъ въ саду она гуляла.

Колкая пчелка впилась въ ея пальчикъ-лепестокъ.

Медоносную пчелку съ крикомъ отъ лилейнаго отрывала пальца

Заползетъ еще подъ воротникъ прожужжать о невозвратномъ.

Къ милому въ воздухъ, къ милому съ мольбой свои руки бросала, руки ему простирала, у него помощи просила, ужаленная предчувствiемъ. Ручки простирала, отъ пальца пчелку отрывала—гуляла, вздыхала.

А когда Свѣтловъ пересталъ говорить, передъ нимъ выросъ мраморный гигантъ съ широко раздувшимися ноздрями. Когда онъ поднялся, положилъ руку на грудь, тамъ все сiяло беззащитно сквозными орденами, точно блестками разорванныхъ тучекъ на мѣсячной груди.

Когда Свѣтловъ подошелъ къ нему, зеленоватыя пальмы, подъ открытымъ окномъ, просочившiяся свѣтомъ, испуганно заметались, залепетали, и косые лучи солнечныхъ огней плясали на нихъ, точно воздушная стая пятнистыхъ чепардовъ.

Полковникъ говорилъ: «Угнетены вы долгами, шатаются ваши, дѣла и вы то приподымаетесь, то падаете».

«И вдоль вашего прошлаго бѣгутъ тѣневыя пятна, производя волненіе въ инженерномъ мірѣ. Точно: я бросилъ въ ваше предпріятіе мое золото, а вы прогорѣли—и вотъ я могу васъ погубить».

«Мое участіе въ вашемъ дѣлѣ будетъ и впредь продолжаться. Я вамъ доставлю казенный подрядъ, и ваша пошатнувшаяся репутація опрокинется въ забвеніе».

«Но вы, ваша жена въ рукахъ у меня—и довольно объ этомъ, довольно. Въ рукахъ у меня: вамъ больно, мнѣ отъ радости довольно, и вольно объ этомъ, довольно».

Когда убѣжало солнце за тучу, воздушные звѣри улетѣли въ окно.

Когда убѣжало солнце, на груди у полковника перестали сверкать рѣзные ордена и медали.

Когда они повернулись къ двери, изумрудныя струи ея сквозного платья, точно зеленые колосья, бросились въ дверь, и косые взоры ея, дробимые улыбкой, обратились къ полковнику.

Золотыя лопасти кружевъ плескались съ ея открытой груди, точно колонны жидкаго золота на зеленой, струйной русалкѣ.

Къ милому въ окно свои яркіе взоры бросала, душу ему отдавала, его призывала.

А тамъ въ пространствахъ Адамъ Петровичъ вздохнулъ, вздрогнулъ.

Ахъ, вѣтеръ—стонущій рогъ—о чемъ ты въ уши стенаешь?

Вѣтряный гласъ: смотри—буря въ небѣ рветъ струны солнца. Рветъ и голоситъ.

Скажи, о скажи, какъ ей помочь, скажи ей: «Господь съ тобою».

Иди же, иди—рогъ вихряной на бой призываетъ: рветъ и голоситъ—стенаетъ.

Изъ-подъ сквозной хрустальной сѣдины полулысина Свѣтозарова къ ея атласной рукѣ склонилась туманнымъ, набѣгающимъ, какъ оболокъ, временемъ.

Изумрудный, ниспадающій ея хитонъ, испещренный золотыми рыбками, казалось струилъ шлейфомъ зеленую воду.

Предложилъ руку и повелъ внизъ съ террасы, и казался мраморнымъ императоромъ, увѣнчаннымъ серебряной, лавровой стариной.

Порывы цвѣтовъ бросались на него въ вѣтрѣ, и эти красныя шапки отъ нея отстранялъ онъ рукой, сверкающей перстнемъ, будто король старины.

Ты лети, бѣлый конь, какъ изъ снѣга сотканный! проголоси, всадникъ, гибкимъ хлыстомъ по конской спинѣ!

Храбрый, храбрый, взрѣзай пространство, уносясь на бой!

И онъ вскакиваетъ на коня: вскакиваетъ и улетаетъ.

Поспѣшай, конь-птица!

Свѣтловъ—крикливый толстякъ, ревомъ хохота, какъ смѣшная птица, какъ пѣтухъ, замахалъ надъ полковникомъ руками. Каштановый гребень метнулъ, лапой звякнулъ въ ладонь Свѣтозарова.

И разразился пыльнопѣннымъ потокомъ словъ.

Вскипѣла, кипѣла сребробѣлая полулысина Свѣтозарова: когда онъ взоромъ перелетнымъ запѣнилъ ей даль шипучимъ кружевомъ бѣлогромныхъ облакъ—вскипѣла старина, кипѣла сѣдина.

Сказалъ ей, цѣлуя руку: «Возноситесь надъ нами, какъ легкая птица».

Подъ руку ее взялъ: какъ нежить, безвластная шла въ порфирѣ она легкоизумрудной, съ плечъ свѣянной кружевомъ пролетающихъ листьевъ, въ даляхъ тающихъ.

Тысячи свѣтленькихъ иголъ прыснули съ ея стрекозинаго стекляруса, но казалось, что это не блестки: тысячи это осъ ползали на ней и жалили ее, ползая, токомъ.

Наклонилъ надъ ней пирнослалкія уста полковникъ, истомногромное наклонилъ онъ лицо: какъ большой одуваньчикъ, безполезно изумрудомъ шелковъ ея просквозившій, сѣдина его коснулась ея легковонныхъ кудрей. Снѣжной, колкой шпорой, невзначай, коснулся ея ножки.

И колкія осы, облѣпившія ее блескомъ, переползли ей въ душу, гдѣ голубенькіе колокольчики о немъ звенѣли.

Заползли подъ воротникъ жужжать и жалить. Вотъ она, израненная токомъ, поводила плечами.

Къ милому, къ милому съ мольбой взоры свои бросала, помощи у него просила.

Ему молилась.

Они проходили у каменнаго изваянія. Крылатый мужъ опрокинулъ мраморный ликъ.

Прямо въ небо уставилось отверстіе его рога.

И рогъ грянулъ:

«Время не терпитъ. Оно бѣжитъ».

«Чаша чарами переполнилась. Какъ бы чары не плеснули».

«Міръ еще никогда не былъ такъ опасенъ, лучезарно обманчивъ».

Ходили въ саду усмиренные, безвластные.

Она была въ кружевной шляпѣ, точно солнце въ бѣлопѣнныхъ облачкахъ.

Замирали у столба, осыпаннаго веревками, взялись за лямки, натянули ихъ, точно свѣтлыя струны.

Полковникъ сказалъ: «Невольно—

хочется взлетѣть на гигантскихъ шагахъ — взлетѣть, летѣть».

И она надѣла лямку.

Полковникъ шутливо замѣтилъ:

«Какъ неизмѣнный круговоротъ, мы всѣ сейчасъ унесемся»

«На круги свои потомъ вернемся».

«Такъ кружится вселенная въ той же смѣнѣ: такъ летитъ образъ міра сего».

И они взлетѣли.

Раздался топотъ ногъ, который вдругъ начался и не могъ кончиться.

Грустя, она ускользала отъ полковника, точно солнце, ниспадающее въ безвременье, а Свѣтозаровъ, какъ мѣсяцъ, плавно летѣлъ вслѣдъ за ней.

Это былъ полевой іерей, конемъ бѣлымъ въ даляхъ вздыбившійся—въ росахъ алмазныхъ, съ плечъ ниспадавшихъ... свѣтляками зацвѣтавшихъ.

Это тонкія руки его грозно вѣтромъ кидали, ствольныя деревья вѣтромъ качали.

«Кто за Содомъ... Скачу... Вотъ я»...

Точно вихряною местью деревья, точно съ ревомъ—сторукія—на полковника кидались.

И вновь замирали.

И несся топотъ всадника, несся — всадника стариннаго, полевого: жнеца нивнаго.

Точно смерть, круто надъ ней изогнулся въ воздухѣ полковникъ, безмолвно ей говорилъ:

«Здравствуй, здравствуй!»

«Это я,—время,—несусь за тобой шептать о смерти, потому что всѣ умремъ и протянемся въ гробахъ».

Обернулась, пролетая внизъ.

Надъ ней плясала сѣдая смерть, пришпоривая ногами золотого, пятинстаго звѣря, звякнувшимъ сапогомъ, надъ ней ниспадала изъ вечерняго блеска.

Это былъ полковникъ.

Вдругъ она крикнула: «Довольно, мнѣ больно... О, довольно!»

Замахала, будто борясь въ воздухѣ кружевными листьями вѣера съ временемъ, и вѣтеръ плеснулъ на сѣдое время ароматный, медовый.

Замахала, липа съ кружевными листьями борясь съ огнемъ солнечнымъ, и звѣрь прыгнулъ въ чащу изъ-подъ ногъ полковника.

И пучекъ вѣерныхъ ея листьевъ, поддуваемый вѣтромъ, брызнулъ вверхъ, какъ снопъ закатныхъ лучей ускользнувшаго солнца.

Покраснѣлъ полковникъ, еще выше подпрыгнулъ: какъ тяжелый шаръ луны, глянуло въ воздухъ старое лицо его, грозно повисло мертвымъ кругомъ.

Возмущенная прочь метнулась, то блѣдиѣя, то вспыхивая.

Какъ многодробный камень, ударилась голова его о плечо, свалилась ей въ изумрудное платье.

Зеленоватыя пряди, струясь, плеснули ему въ лицо, омыли сѣдину и улетѣли прочь, точно облако свѣянныхъ листьевъ.

Всадникъ мчался въ поляхъ... И крикнулъ Свѣтозаровъ, вѣткою пойманный черною шаткаго дерева.

Тѣла въ лямкахъ упали на землю. Безумiе кончилось.

Взошелъ мѣсяцъ.

Точно протянулъ онъ надъ ними сiяющiй одуванчикъ: все затянулось пушистыми перьями блеска.

И перья ласково щекотали безвластiемъ.

Свѣтозаровъ ей шепталъ: «Никогда еще не были вы такъ прекрасны, не были вы такъ животворно-воздушны».

«Никогда еще».

Она послушно дышала отравой и сонно клонилась въ безвидныхъ сѣтяхъ.

Они вошли въ домъ.

Зеленоватыя, узловатыя нити, какъ стебли недозрѣвшихъ колосьевъ, струясь, ниспадали надъ дверью.

Они окунулись въ струи и вышли въ гостиную.

На взмыленномъ конѣ прискакалъ всадникъ.

Соскочилъ съ коня усталый, блѣдный.

Махнулъ хлыстомъ, нервно провизжалъ имъ въ воздухѣ, какъ мечемъ:

«Вотъ я... вотъ я!..»

Передъ нимъ зацвѣли улыбкой лакеи.

Онъ спросилъ: «Барыня дома?»

И пошелъ въ садъ.

Свѣтозаровъ ей говорилъ: «Никогда еще вы не были такъ прекрасны, не были вы такъ животворно-воздушны».

«Никогда еще, никогда».

Тучи свѣтленькихъ нитей разлетались отъ ея стекляруса.

Это снялись съ нея осы и улетѣли въ темноту.

Свѣтозаровъ щурился: золотыя нити ея пересѣклись въ одну звѣздистую нить.

Эта была броня, надѣтая чьей-то рукой.

Открылъ глаза. И все пропало.

Она вышла въ садъ.

Зеленоватые, узловатые стебли на двери заколебались, струясь шелестомъ, и косые огни, дробимые стеблями, плескались, точно солнечныя колонны золота на водѣ надъ головой захлебнувшагося.

Ясно сверкнулъ на нее давно любимый, синій взоръ Адама Петровича. Ясно блеснуло давно во снѣ процѣлованное золото кудрей изъ-подъ бѣлой, соломенной шляпы. Ясно склонилось его бѣлое лицо, когда протянула ему руку.

Тихо передалъ ей письмо отъ сосѣдей, гдѣ онъ гостилъ.

Тихо сказалъ ей: «Простите, что васъ безпокою». Тихо протянула ему нѣжную свою руку въ мѣсячномъ сіяніи. Тихо глядѣла въ глаза безотвѣтно, безвластно.

Было холодно и ясно.

Ничего не случилось. Встрѣтились они. Свѣтозарный покой ояснилъ имъ души.

Она опустила головку, сказавъ: «Адамъ Петровичъ, я много о васъ слышала».

Поднялъ глаза на нее. Сказалъ, пропелестѣвъ хлыстомъ по листьямъ: «Неужели?»

И Свѣтлова улыбнулась: «Я такая одинокая: будемте друзьями».

Они шли къ одинокому простору надъ обрывомъ.

Шли...

И шуршали сухими листьями.

Имъ открылась неоглядная даль.

И протягивая руки, сказала: «Какъ тамъ хорошо—тамъ хорошо!»

Тамъ, гдѣ было солнце, еще осталось взволнованное погасаніе свѣта.

Мгновенія растянулись. Вся жизнь пронеслась передъ ними. Все казалось вѣчно знакомымъ.

Вдали гасло ясное вино, пролитое на горизонтѣ.

Точно его размѣшали съ ночью.

Сидѣли на скамейкѣ. Она говорила: «Вотъ такъ же бывало я здѣсь сидѣла».

«Сидѣла и думала объ одномъ».

«Проходили дни... И вотъ я опять тутъ сижу».

«Сижу и вспоминаю прошлое».

Фонтанъ рядомъ съ ними шепталъ, блисталъ.

Ясно склонилъ передъ ней льняную, будто горсть спѣлыхъ колосьевъ, бородку. Ясно ей улыбнулся, простился. Ясно она его къ нимъ звала. Ясно слѣдила влюбленными взорами, какъ уходилъ онъ въ зелень кустовъ.

Лунныя перья изорвались въ клочки набѣжавшимъ облачнымъ алмазомъ, но края облачка осквернили чары злой черной каймой.

Вѣтеръ овѣялъ блѣдную шапочку одуванчика, овѣялъ, свѣялъ, развѣялъ пухъ.

Она видѣла, какъ въ домѣ прошли съ лампой, блѣдно сіявшей, какъ одуванчикъ.

И отъ лампы падали свѣты и плыли на цвѣтникѣ странной, узорной сѣтью.

Точно бросили призрачное покрывало изъ свѣта и тѣни, и вотъ оно мчалось по цвѣтнику.

Она видѣла, что лампу несъ полковникъ, мертвый, блѣдный, какъ призракъ, застекольный.

Видѣла и не узнавала: ей казалось, что это трупъ.

Свѣтозаровъ прощался: поднялъ на нее старое лицо. Въ глазахъ у него была пустота.

Прыснули, какъ молоньи, эксельбанты на бѣломъ кителѣ.

Надвинулъ фуражку, теперь сутулый, беззвучно точно ей усмѣхнулся: «Дышите, упивайтесь имъ, любите: вы въ моей— въ моей вы власти».

Но это только казалось.

Полковникъ сморкался и не знали, смѣется онъ или плачетъ.

Сморкался, не знали: казалось все, показалось.

Ландо подали.

Негры въ красныхъ ливреяхъ изъ темени бросились на нее, словно моськи съ кровавыми ртами, отворяя дверце, и застывали, и сіяли изъ темени бѣлками глазъ да яркими, яркими позументами.

Изъ дома вышла бѣлая статуя и прошла по ступенямъ въ яркомъ, мѣсячномъ лучѣ.

Морды коней изъ мѣсячныхъ пятенъ гордо бросились въ темновѣсную ночь.

Точно голова генія, увѣнчанная серебрянымъ лавромъ, прометнулась въ темь вслѣдъ за конями,—и вотъ онъ прощально махнулъ фуражкой.

И огненные негры бросились за нимъ на запяткахъ, когда кучеръ погналъ ландо.

Слышался конскій скокъ на деревянномъ мосту, который еле удалялся, все не могъ заглохнуть.

Всталъ изъ ландо, негры свели, день у нихъ проводилъ, въ саду бродилъ, и шутилъ, и грезилъ, и молилъ.

Да, онъ любилъ, былъ онъ не милъ.

Забылъ.

Съ чѣмъ пріѣхалъ, съ тѣмъ и уѣхалъ.

Молитва о хлѣбѣ.

Ты, нива, золото. Ты—вѣтроплясъ созрѣвшихъ колосьевъ Порфирой переметной—провѣй, одари.

Нивѣ помолимся.

Кровь заката сладкорубинная пѣной златожалыхъ колосьевъ вскипѣла: причастники, приступите.

Сладкую пѣну, рубинную вкусите—вкусите пѣну.

Проливайся пѣна колосистая, проливайся.

Гласы, гласы свои надъ землей кормилицей изрекайте, о Господѣ воздыхайте, оратаи земляные—дьяконы хлѣба.

Хлѣбъ съ полей свозите.

Такъ звучалъ призывъ къ спящимъ, но все окончилось въ отдаленіи—плаксивыхъ пѣтушьимъ пѣньемъ.

И летѣлъ призывъ, крутясь дымноземной пылью на дорогѣ.

Всталъ мѣсяцъ — горсть оледенѣлаго снѣга, обтаявъ лазурью по краямъ.

Вотъ мужиченки—коренья земляные—вотъ мужиченки нивой многозлачной, златотекущей нивой проходятъ: одежда ихъ такъ землею пропитана, какъ воздухомъ одуванчикъ.

Проходятъ нивой.

Вы, мужиченки, пчелы Господни, вы, мужиченки, сердце землѣ да волѣ открывайте, на призывъ вставайте, медъ нивъ съ истомой снимайте.

Покрывайте, мужиченки, соломой избенки.

Вопите: «Ты, нива, наша!»

Было холодно и ясно. Свѣтозарныя волны омывали ихъ лица.

Они шли и котомки ихъ болтались за плечами.

Они шли вдоль равнинъ. Ничто ихъ не касалось и никто ихъ не задерживалъ.

Было тихо. Лазурное небо точно плакало вдали. Лучезарный старецъ пригорюнился: «Преходитъ образъ міра сего».

Подперъ руку подъ подбородокъ и уставился ликомъ въ землю.

Они пришли къ многогребенному холму надъ песчанымъ обрывомъ.

Бурьянъ хлопалъ большими, яркокрасными, колючими шапками.

Камень за камнемъ упадалъ въ обрывъ.

Лучезарный старецъ пригорюнился:«Слѣпцы не прозрѣютъ».

Прыснулъ вѣтеръ медовичъ златогонный и лазурное небо усмѣхнулось вдали.

Прыснулъ вѣтеръ медовичъ златогонный.

На ребрахъ оврага наламывались многодробныя, чернометныя тѣни тучекъ.

Прыснулъ вѣтеръ медовичъ златогонный чернометными тѣнями тучекъ:

«Дни текутъ. Времена накопляются. Надвигается незакатное, безсрочное».

«Просится:

«Пора мнѣ въ этотъ старый міръ: пора сдернуть покровы, развить пелены, налетѣть вѣтромъ, засвистать въ уши о довременномъ».

«Воздушномѣровыя объятія мои распахнулись безтрепетно».

«Я несу парчевыя ризы всѣхъ вещей».

Прыснулъ вѣтеръ медовичъ златогонный яркими молоньями солнца въ переметныя тѣни тучекъ, и онѣ теперь уносились вдаль.

Лучезарный старецъ вознесъ томные свои взоры. Онъ стоялъ съ протянутой рукой на холмѣ многогребенномъ:

«Да, слѣпцы прозрѣютъ: да, слѣпцы увидятъ свѣтъ».

Колосья забушевали. Крикнулъ перепелъ, пойманный шаткою тѣнью, летящей на острыхъ колосьяхъ.

Все это было: приходило и уходило.

Гряди, жнецъ, гряди!

Къ тебѣ,—жнецъ,—тайна, и слово о тебѣ вихремъ благимъ намъ въ сердца глаголетъ.

Въ облакѣ росномъ, во струяхъ воздушныхъ, цвѣтогон-

ныхъ, на ниву сойди, и серпъ намъ пусти свой,—серпъ пусти намъ, намъ свой серпъ.

Скажи: «Я—съ вами».

Жнеца, работники, исповѣдуйте громче,—какъ день бѣлаго громче.

Громче гремите косами острыми.

Громче, мстители, громче, все вопите громче: «Се грядетъ жнецъ жатвою острою».

Гряди, жатва, гряди.

Верхомъ на воздухѣ.

Благородный арабскій конь, словно взмываясь въ воздухъ, гулко звякалъ кремнемъ, закусивъ удила, то ныряя въ хлеставшихъ волнахъ зелени, то выплывая оттуда лебединой своей, ярко снѣжной шеей. И грива его, расчесанная вѣтромъ, простроилась молочными прядами въ лазурь.

Точно на коня бросили отлитого изъ олова всадника, засверкавшаго серебромъ,—и вотъ онъ свиснулъ хлыстомъ, изогнувшись стройнымъ затянутымъ станомъ.

Голова его, закипѣвшая сѣдиной, низко клонилась къ бѣшеному коню, омытая гривой, когда онъ снималъ фуражку.

Встала яркая его зубчатая сѣдина языками бѣлыхъ лижущихъ воздухъ огней.

Конь его несъ на кусты,—онъ пролеталъ: цвѣты о грудь разбивались свистомъ.

И неслись... и неслись...

Когда бросался кустъ росянистымъ, розовымъ цвѣтомъ, Свѣтозаровъ срывалъ его на скаку и цвѣтокъ за спину всадника струилъ токъ розовыхъ бабочекъ.

Когда взлеталъ его конь, просверкавъ переднимъ копытомъ надъ рыжимъ песчаникомъ, всадникъ, застывъ на мгновенье литымъ изваяніемъ, коню вонзалъ въ бока острыя шпоры, къ нему прижимаясь лаковыми ботфортами.

Когда мертвенно-блѣдный всадникъ взлеталъ надъ кустомъ языками сѣдыхъ прядей, осыпанный розовымъ цвѣтомъ, онъ казался смѣющимся образомъ смерти, насмѣшливо сѣкущей лазурь.

Когда было, тогда будетъ, когда будетъ, тогда есть. Есть, было и будетъ.

Но міръ смерть забудетъ.

Впереди неслось звонкое цоканье, которое началось и не могло кончиться.

Это голубая амазонка, словно шаталась, слоняясь, пролетала, шатаясь, въ кусты, то блѣднѣя, то зацвѣтая солнцемъ.

Точно Свѣтлову бросили въ вѣтеръ—и вотъ она врѣзалась въ воздухъ, потому что конь ея, бѣлый, какъ день, съ днемъ сливался.

Спереди набѣжали кусты волнами шумныхъ вершинъ; набѣгали — на грудь ей бросались: за спиной ея смыкались и убѣгали въ безконечность.

Набѣгаютъ, набѣгали—будутъ и впредь набѣгать.
Когда было, тогда будетъ, когда будетъ, тогда есть.
Смерть міръ не забудетъ.
Да, будетъ!

Тогда бѣлый воздухъ лѣпилъ ей воздушнаго коня, и воздушный конь мчался на зелени, испещренной золотыми пятнами: это плясала солнечная порфира изъ-подъ сквозныхъ

бушующихъ листьевъ ясными очертаніями:—воздушно золотые гепарды, словно изъ ярыхъ солнечныхъ углей, шатались перемѣшанные вѣтромъ, то пригибаясь, то прыгая на коня.

Но кусты неслись:—золотые воздушные гепарды, бѣжали ей навстрѣчу (ихъ бросила безконечность), вылѣпляясь изъ свѣта и тѣни: точно ей навстрѣчу пустили воздушную, вѣтромъ ревущую стаю—и вотъ гепарды бросались на нее, разбивались у нея на груди волнами листьевъ, розовымъ цвѣтомъ, пятнами солнца и холодной, холодной росой.

Это летѣли мгновенья—летѣли и разбивались.

Это она пролетала сквозь время, страстно рвалась въ голубую свободу.

Когда она обернулась, время—туманный тріумфаторъ въ ореолѣ серебряныхъ листьевъ—на тяжеломъ конѣ плавно ускакало за нею.

Когда встрѣчала она его оскаленное лицо, изъ беззащитно сквозныхъ, листвяныхъ кружевъ оскаленное лицо ей кивало, оскаленное лицо ей кивало, оскаленное лицо ей кивало.

Когда, пролетая, она бросала за спину закипавшіе росяные кусты, точно развѣивала за собою закипѣвшую зелень вуалей, зеленое кружево струилось на скачущемъ всадникѣ, и оскаленное лицо ей кивало, и лохмотья кружевъ, изорванныхъ конемъ, жалобно плескались въ яростномъ солнцѣ, словно зеленыя брызги разбитыхъ, о мраморъ разлетѣвшихся, волнъ.

Когда вылетѣла изъ кустовъ, золотые, воздушно грызущіе звѣри утонули пятнами въ океанѣ блеска и трепета.

Когда понеслась въ широкомъ просторѣ, бѣлый какъ изъ воска, лѣпной ея конь неслышно истаялъ въ бѣломъ вѣтрѣ;

воздухъ взялъ у нея коня, и вотъ неслась въ вѣтрѣ, какъ голубая птица, плеснувшая перьями.

Но это только казалось: конь вознесъ ея на обрывъ; внизу сверкало озеро; она любезно повернулась къ догонявшему ее полковнику съ хохочущимъ вызовомъ: «Не сумѣли меня догнать!».

Когда смерть не сумѣла, тогда она не сумѣетъ. Смерть не знаетъ, не умѣетъ.

Время смерть развѣетъ, время смерть забудетъ, времени не будетъ. Твердь голубая безъ времени будетъ.

Озеро, зажженное искрами, казалось застывшимъ зеркаломъ; когда они спустились съ откоса изъ-подъ вѣтромъ колеблемыхъ камышей взлетали стрекозы; онѣ плясали надъ юной сильфидой.

Покорный гигантъ, какъ рабъ схватившій ея коня, застылъ мраморнымъ изваяніемъ, когда она, поставивъ ногу на камень, пропѣла у носа его гибкимъ, звучнымъ хлыстомъ. «Полковникъ, мнѣ жарко: держите коней, пока искупаюсь я тамъ, за зелеными листьями камыша».

Синяя, синяя сильфида стояла на берегу синяго, синяго, озера.

Гиганту показалось, что платье ее слилось съ озеромъ въ одну студеную глубину, точно нырнула она—и вотъ лицо ея, да кисти лилейныхъ ручекъ тянулись къ нему изъ озерной глубины, потому что волосы растворились въ свѣтовой пляскѣ солнечныхъ змѣй, а бѣлопѣнная шляпа качалась на струяхъ снѣжными ненюфарами.

Но это только казалось: бѣлыя кисти ея ручекъ плясали: шутливо надъ носомъ раба, бѣлопѣнная шляпа качалась цвѣ-

тами, а изъ синей синевы ея платье выдѣлялось на озерѣ неяснымъ очертаніемъ.

Вотъ она скрылась въ зеленыхъ камышахъ: тамъ слетѣла съ нея одежда; тамъ пляшущія стрекозы садились къ ней на плечи и грудь, и она отмахивалась отъ ихъ щекочущихъ поцѣлуевъ.

Скоро раздался плескъ воды, который начался, и не могъ кончиться: ходила по колѣно въ водѣ, завернувшись хрустальной фатой, сотканной изъ крылъ стрекозиныхъ.

И шумѣла осока. И былъ день большого вѣтра.

И задрожавшій полковникъ, охваченный страстью, тихо крался за нею въ зеленыхъ стебляхъ.

«Здравствуй, здравствуй».

«Это я скажу тебѣ о страсти, потому что я не могу больше ждать».

Изъ-подъ зеленаго шипа стеблей выплывалъ онъ старымъ, знойнымъ, мертвымъ лицомъ.

Онъ ничего не увидѣлъ: озеро—царевна—бросило на стекла свои солнечныя кольца, и вотъ они свивались и развивались.

Солнечная змѣя плясала у берега. Бѣлые ненюфары цвѣли у берега.

Это золотыя кудри ея изъ-подъ воды выплывали, это двѣ ручки—два цвѣтика, это личико—букетецъ—приподнялись изъ озерной глубины. Скоро она вся возстала въ хрустальныхъ кружевахъ изъ крылій стрекозиныхъ.

Онъ къ ней бросился.

Протянутыя руки изорвали хрустальное кружево обнаженной сильфиды, когда упалъ на колѣни, то склоняясь, то выпрямляясь.

UNIV. OF CALIFORNIA

На нихъ бросили хладный бархатъ пролетавшаго облачка и они впились другъ въ друга изумленными очами.

Хладный бархатъ пролетающаго облачка.

Время—хладный бархатъ пролетающаго облачка. Смерть—хладный бархатъ пролетающаго облачка.

Горе, радость, жизнь, о, все тоже, все тоже.

Если было, то будетъ, если будетъ, то есть.

Вотъ міру вѣсть: хладный бархатъ пріимите пролетающаго облачка.

Онъ, точно звѣрь, пожиралъ ее взглядомъ, а она уронила въ ужасѣ головку.

Онъ ей сказалъ:

«Солнце мое — вѣчное, вѣчное золото — покорно отдайтесь мнѣ. Я осыплю васъ моими богатствами, какъ волнами знойныхъ, пьяныхъ, солнечныхъ лучей».

«Когда вы придете ко мнѣ, я воздвигну хрустальный дворецъ, точно весь сотканный изъ воздуха. Въ этомъ мірѣ засвѣтитъ мнѣ солнце».

Но она отшатнулась.

Возмущенная схватила батистъ рубашки, закрывая стыдливо свою наготу, то вырываясь изъ рукъ его, то безсильно склоняясь.

Вдругъ она подняла лицо:—передъ ней возвышался многогребенный, песчаный верхъ.

Тамъ выросъ силуэтъ застывшаго всадника съ перекошеннымъ, блѣднымъ, оскорбленнымъ лицомъ. Солнечная бородка и болѣзненно странная улыбка запали ей въ душу.

Въ блѣдной небесной бирюзѣ лицо всадника обдувало душистымъ эфиромъ.

Это былъ онъ—ея смутный сонъ.

Вдругъ поднялась его бѣлая десница, и онъ пригрозилъ ей гибкимъ, сверкнувшимъ хлыстомъ.

Соломенная шляпа его казалась мѣднымъ шлемомъ, а перистое облако, проплывавшее надъ его головой, казалось ей снизу пучкомъ бѣлыхъ, страусовыхъ разметанныхъ перьевъ.

Онъ спѣшилъ къ ней, чтобы вырвать ее изъ рукъ времени, и вотъ грустно повисъ конемъ надъ обрывомъ, накрывъ ее въ объятіяхъ старика.

Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

Солнечный шелкъ бушевалъ вокругъ сквозного его, жемчужного лица.

Вотъ замиралъ, охваченный вѣтромъ,—безвозвратно пролетающимъ временемъ.

Вотъ искаженное мукой лицо синими очами въ послѣдній разъ впилось въ желанную, и онъ скрылся за холмомъ, будто уплывающее облако съ двумя просвѣтами лазури.

Вотъ были, вотъ будемъ: но надвинулось время, а во времени рожденіе и смерть. Между смертью и рожденіемъ — жизнь, пролетающее облачко съ двумя просвѣтами лазури.

Дѣти свѣта — вотъ два просвѣта (рожденіе и смерть) — просвѣты въ твердь.

О, пролетающее облачко!

Когда она бѣшено оттолкнула полковника, онъ, тяжело дыша, сталъ въ сторонѣ, склонивъ сѣдину.

Когда застегнула кофточку, блѣдно сіяющія кружева на груди у нея перестали сквозить.

Когда бросилась къ лошади, амазонка ея плеснула яростью и отчаяніемъ, и солнечный свѣтъ заплясалъ на ней огнями своими.

Сѣло солнце. Небо стало большимъ золотымъ зеркаломъ, и блѣдно сіяющія кружева тучъ засинѣли и перестали сквозить.

Вѣтерокъ ей шепталъ:

«Довольно».

«Любовь пролетѣла, и угасло большое, старинное солнце».

«Прощай, прощай!»

«Никогда не вернусь ослѣпить воскресеніемъ, потому что ты не воскреснешь, ты умрешь».

Смерть, довольно: тамъ—одна намъ юдоль, но насъ много, насъ много. Намъ дорогой раздольной не итти никогда.

Нѣтъ:—да.

Голубая дорога голубого Чертога.

Смерть довольно: намъ вольно.

Намъ отъ радости больно.

Опять благородный арабскій конь ее, обезумѣвшую отъ горя и напраслины, звонко цокая, понесъ вдоль полей.

Опять онъ истаялъ въ свиставшемъ воздухѣ.

Опять воздухъ вылѣпилъ ей бѣлаго, воскового коня, когда напало на нее море кустовъ.

Когда, пролетая, она бросала кусты за спину, точно сквозную, безконечно спадающую за плечи зеленую шаль, точно о скалы разбитую зелень морскихъ валовъ, и зеленыя кружева, и брызги разбитыхъ волнъ плясали на скачущемъ за ней всадникѣ—Смерти.

И смерть рвала кружева—покровы надъ бездной.

Смерть дробила шипучія волны забвенья.

Смерть насмѣшливо хохотала ей вслѣдъ.

Но это только казалось: полковникъ Свѣтозаровъ, рыдающимъ голосомъ ей вслѣдъ молилъ о прощеніи.

Золотые, воздушные звѣри кидались на нихъ, несясь обратно.

Точно на зелень бросили дикую, вѣтромъ стенавшую стаю, и вотъ гепарды терзали ихъ цѣпкими лапами, грызли груди имъ окровавленными, заровыми, воздушными клыками, разбивались у нихъ на груди волнами листьевъ, цвѣтами, закатными пятнами, холодной, холодной росой.

У нихъ за плечами они возникали опять.

Такъ летѣли гепарды, вырѣзанные въ зелени пятнами свѣта, вмѣстѣ съ летящими кустами, отъ горизонта къ горизонту.

Будущее грозилось ревущей стаей звѣриныхъ мгновеній, прошлое убѣгало той же стаей; настоящее разрывало мгновенья волнами листьевъ, цвѣтомъ и тѣнью, холоднымъ, холоднымъ потокомъ слезъ.

Пѣна колосистая.

Пѣна волновалась.

Возмущенные колосья словно шатались, склоняясь, то чернѣя, то золотѣя.

И вдоль нивы бѣжали тѣневыя пятна, производя волненіе.

Точно на ниву бросили золотую порфиру, испещренную пятнами, и вотъ она мчалась къ горизонту.

Солнце—чаша, наполненная золотомъ,—тихо опрокинулось въ безвременье.

И разлились времена волнами опьяненныхъ колосьевъ.

Налетали—пролетали: о межу разбивались многопѣннымъ шелестомъ.

И неслись, и неслись.

Когда убѣжало солнце, небо стало большимъ зеркаломъ.

Когда убѣжало солнце, блѣдносіяющія кружева тучекъ засинѣли и перестали сквозить.

Когда убѣжало солнце, вдали запѣвали:

«Паа - жаа - лѣй, дуу - шаа заа - аа - зноо - бушка маалаа-аа...»

Низкіе пурпуровые басы гармоника окаймила бахромой золотою.

А высокій звонкій тенорокъ взлеталъ надъ огнемъ и золотомъ высоко закинутой, узкой, лазурной стрѣлой.

Рыдающій полковникъ пролетѣлъ гдѣ-то вдали, вдали, словно склоняясь, то темнѣя, то сверкая слезами.

И вдоль нивы бѣжало его тѣневое пятно.

И несся... и несся...

Низкія пурпуровыя струи заката заливали небо, окаймленныя золотой бахромою тучъ.

А высокій, звонкій лазурный пролетъ разрѣзалъ кружево тучъ острой, холодной стрѣлой.

Вдали замирало:

«Раа-спряя-мнись ты-ни, роо-жь выы-соо-каа-ая...»

«Таай-нуу свяяя-таа саа-храании...»

Воздушно міровыя объятія безтрепетно распахнулись.

Вѣтерокъ пронесъ парчевыя ризы всѣхъ вещей.

Всадникъ мчался, и крикнулъ перепелъ, пойманный тѣнью, летящей на шаткихъ колосьяхъ.

Наша жизнь—улетающая тѣнь.

Вотъ, какъ черная птица, несется надъ моремъ колосьевъ.

Вмѣстѣ съ нами летитъ, неизмѣнная.

Такъ, качаясь, летитъ образъ міра сего... на родину, на неизвѣстную родину.

Вдругъ лошадь споткнулась о камень многодробный, и полковникъ нырнулъ въ бушующую рожь.

Зеленоватые, узловатые стебли струились вокругъ него, и косые лучи заката, дробимые колосомъ, плескались надъ его головой, точно солнечныя колонны золота надъ усмиреннымъ утопленникомъ.

Когда убѣжало солнце, небо стало большимъ зеркаломъ.

Когда убѣжало солнце, блѣдносіяющія кружева тучъ засинѣли и перестали сквозить.

Когда убѣжало солнце, вѣтерокъ пронесъ въ свистѣ парчевыя ризы всѣхъ вещей:

«Дни текутъ. Времена накопляются. Надвигается незакатное, безсрочное».

«Просится: пора мнѣ въ этотъ старый міръ».

«Пора сдернуть покровы. Развить пелены. Пора открыть имъ глаза. Налетѣть вѣтромъ. Засвистать въ уши о довременномъ».

На высокомъ верху многогребенномъ показался старецъ, точно весь сотканный изъ воздуха.

Это былъ лучезарный слѣпецъ съ открытыми, синими глазами.

Онъ стоялъ съ протянутой рукой на песчаномъ холму многогребенномъ.

Спина его была выгнута. Сѣдина низко опущена.

Странно было видѣть это безмолвное видѣніе съ протянутыми руками въ золотомъ воздухѣ.

Онъ молился: «О, еслибъ прозрѣли, о, еслибъ увидѣли свѣтъ. Преходитъ образъ міра сего».

Нива волновалась.

Опьяненные колосья, словно шатались, склоняясь, то чернѣя, то золотѣя.

И вдоль нивы бѣжали тѣневыя пятна, производя волненіе, точно на ниву бросили порфиру, испещренную пятнами,—и вотъ они бѣжали къ горизонту.

Закатъ становился блѣдно-грустенъ и золотисто-атласенъ.

Золотое, пролитое вино гасло, точно его разводили водой.

Вѣчный покой.

Было холодно и ясно.

Многотечные вѣтры омывали ихъ лица.

Они шли въ одеждахъ послушниковъ и котомки ихъ болтались за плечами.

Они шли вдоль равнинъ. Ничто ихъ не касалось и никто ихъ не задерживалъ.

Стояла осень. Лазурное небо заплакало вдали.

Лучезарный странникъ пригорюнился, сказавъ: «Скончалась. Преставилась».

Подперъ руку подъ подбородокъ и уставился въ землю.

Они пришли къ одинокому кресту надъ песчанымъ обрывомъ.

Это была ея могилка.

Деревцо хлопало большими, матовожелтыми листьями.

И листъ за листомъ обрывался надъ могилкой.

Онъ заплакалъ: «Неужели она не воскреснетъ?».

Вѣтряный напоръ сталъ рвать деревцо, и матовожелтое облачко листьевъ, шелестя, пронеслось мимо ихъ ногъ.

Онъ обхватилъ руками ея могилку и просилъ: «Воскресни, родная».

Вѣтряный напоръ сталъ рвать деревцо, и новое облачко свѣянныхъ листьевъ, шелестя, пронеслось мимо ихъ ногъ.

Онъ обхватилъ руками ея могилку и просилъ: «Воскресни, родная!»

Но загадочный странникъ положилъ руку къ нему на плечо и сказалъ: «Чего ты плачешь?».

«Вѣдь могила пуста».

Поднесъ руку къ глазамъ и увидѣлъ, что лазурное небо смѣялось вдали.

Облетѣвшее деревцо радостно тряхнуло голыми сучьями и въ отчетливомъ воздухѣ тянулась золотая паутина. Странникъ, стоя на песчаномъ откосѣ, нѣжно смѣялся сверкающимъ ликомъ.

Проснулся. Открылъ глаза.

Въ сверкающую щель ставни рвалась свѣтозарная струйка и ложилась на стѣнѣ блѣдностраннымъ узорнымъ пятномъ.

Это шумѣли деревья.

Это былъ день большого вѣтра.

И сиреневые кусты, охваченные вѣтромъ, глухо волновались и отмахивались отъ объятій и поцѣлуевъ.

Обдумывалъ письмо ей холодно и ясно:

«Все измѣнилось. Измѣнились и вы. Я пишу вамъ письмо».

«На меня надвинулся холодъ. Дѣланно вы дразнили меня, а сами обнимались съ полковникомъ».

«Я увидѣлъ, что вы мертвы—мертвы, какъ смерть».

«Я былъ боленъ. Уѣзжаю теперь отъ васъ. Уѣзжаю на сѣверъ, къ соснамъ».

«Вы, какъ смерть, загадочны. Но я еще глубже задвинусь книгами».

«Мои уста съ того дня застыли скорбнымъ изгибомъ».

Такъ писалъ.

И шуршалъ сухой бумагой.

«Мнѣ въ васъ открывалось будущее. И протягивая руки, я вамъ говорилъ, что солнце мое восходитъ, восходитъ».

«Но оно закатилось».

«Осталось взволнованное угасаніе свѣта, да и тотъ свѣтъ—свѣтъ моей души».

«Вокругъ васъ тянется паутина зла, и вы, оплетенная чарами, не горите ужъ, какъ прежде, на вечерней зарѣ».

«И заря моя потухаетъ: угасаетъ мое золотое вино, точно его разводятъ водой».

Писалъ.

И шуршалъ сухими страницами.

«Вотъ такъ же, какъ я сидѣлъ и думалъ о васъ, вы сидѣли и думали о полковникѣ».

«Вы любите другъ друга».

«Прошли мои сны. И вотъ опять сижу я тутъ: сижу, но не хочу о васъ думать».

«Ваша тайна давно взволновала меня, и я поднялъ въ зарю мое лицо, но—удаленныя мы другъ отъ друга туманнымъ

временемъ. И то печально уходилъ отъ васъ, то приближался, теряя покой свой».

«Струна за струной обрывалась межъ нами».

«Міръ не безперемѣненъ. Онъ мчится впередъ. Перебрасываетъ будущее въ прошлое».

«У него есть крылья улетѣть отъ настоящаго».

«Это значитъ, что прошлаго нѣтъ: оно умаляется».

«Временная струя вытекаетъ изъ разбитой чаши».

«Когда чаша изсякнетъ, перестанутъ струиться временныя струи».

«Меня посѣтитъ забвеніе»

«Съ грустью перебираю событія, заливаемыя временемъ: мы не знали другъ друга».

«Мнѣ казалось—мы оба любили. И вотъ я одинъ: одинъ, какъ перстъ».

«Пусть вы влюблены—влюблены въ старую смерть, но вашъ долгъ—сіять для жизни».

«Это я пишу ясно и просто».

«Прощайте. Время изорветъ мою черную грусть».

Надъ нимъ было ясное небо, и тучка, повитая грустью, глядѣла лазурными пролетами.

Она глядѣла, она провѣяла вздохомъ: «Ничего не умерло».

«Все вернется».

«Да, все вернется».

Она глядѣла: она провѣяла вздохомъ.

Не глядѣлъ на облако. На щекахъ застыли двѣ слезы

Протянулись его руки. Разрѣзали голубую зеркальность, словно скорбныя, четкія лиліи.

Былъ у него только одинъ путь къ несказанному, да и онъ угасалъ.

Вѣчность потухла для него.

Золотая осень.

Шла съ сѣдымъ, знаменитымъ мистикомъ.

Онъ пріѣхалъ проститься. Онъ уѣзжалъ отъ нихъ въ монастырь.

Онъ ей говорилъ: «Еще не много».

«И я уѣду въ сосны. Я уйду отъ васъ».

«Но вы сами ко мнѣ придете».

Было холодно и ясно.

Ничего не измѣнилось. Измѣнилась она.

Получила письмо.

Сѣдой другъ надвинулъ широкую шляпу, грустно склонился и уставился въ землю.

Зашепталъ—заблисталъ жемчужными зубами:

«Этотъ міръ—міръ погибшій».

«Здѣсь всѣ погибаютъ».

И Свѣтлова улыбнулась: «Я больна. Я хочу съ вами ѣхать на сѣверъ, въ монастырь».

«Уѣзжаю отсюда къ соснамъ».

Она была, какъ смерть, блѣдна.

Старый другъ еще глубже надвинулъ фуражку.

Шли.

И шуршали сухими листьями.

Имъ открылась неоглядная даль.

И, протягивая руки сказала: «Солнце закатывается—закатывается».

И оно закатилось.

Тамъ, гдѣ былъ златокованный щитъ, осталось взволнованное погасаніе свѣта.

Въ воздухѣ тянулась золотая паутина.

Волосы ея, оттѣненные чернымъ, чуть свѣтились на вечерней зарѣ.

Закатъ становился блѣдно-грустенъ и золотисто-атласенъ: гасло золотое, сіяющее вино, пролитое на горизонтѣ.

Точно его разводили водой.

Сѣла на лавочку: «Вотъ такъ же, бывало, я здѣсь сидѣла».

«Сидѣла и думала о немъ».

«Мы оба любили».

«Прошло это время. И вотъ я опять тутъ сижу».

«Сижу и вспоминаю прошлое».

Вѣтерокъ трогалъ ихъ одежды.

Старецъ сидѣлъ, опершись на палку.

Поднялъ въ пространство старое, старое лицо.

Удаленныя вершины лѣсныя то никли другъ къ другу, то вновь закидывались, еще зеленыя, напитанныя вѣчностью, сквозящей въ зелени своимъ блѣднымъ золотомъ.

И листъ за листомъ, обрываясь, сверкалъ.

Міръ не безпереміненъ. Онъ мчится впередъ—все впередъ, все впередъ.

Перебрасываетъ будущее въ прошлое: летитъ да, впередъ —да, впередъ.

У него есть крылья, чтобы летѣть прочь отъ настоящаго все впередъ—ахъ, впередъ.

Но это не значитъ, что прошлаго нѣтъ.

Оно ростетъ: временная струя бьетъ въ подставленную чашу.

Когда наполнится чаша, перестанутъ изливаться въ нее временныя струи.

И прошлое вернется.

Съ грустью перебиремъ событія, залитыя временемъ:

«Мы оба любили—и вотъ я бѣла: блѣдна, какъ смерть».

«Пусть вы бѣлы—блѣдны, какъ смерть—ваши очи, дитя, сіяютъ, какъ небо».

Она взглянула на друга просто и ясно.

Встала,—вѣтеръ рвалъ ея черное платье.

На горизонтѣ было ясное, винное золото, и она, повитая имъ, глядѣла вдаль.

Она глядѣла вдаль и говорила: «Ушелъ. Не вернется».

«Нѣтъ, онъ вернется».

Старикъ снялъ фуражку, заглянулъ ей синими, вѣщими глазами въ лицо.

Онъ увидѣлъ на ланитахъ ея двѣ слезы.

Протянулись облачка.

Разрѣзали золотую зеркальность отчетливыми, синими клочьями.

Остался только одинъ винный кусокъ золота, да и онъ угасъ.

И вѣчность погасла на горизонтѣ.

Ходили и говорили о прошломъ.

Прошлое растетъ.

Все, что было, сохранилось въ старинной чашѣ — поднялось.

Все, что было, не умерло: все, что было, плещется на поверхности.

Еще немного.

Остановится время: міръ перестанетъ мчаться впередъ.

И прошлое вернется.

Въ монастырѣ.

Открыла глаза.

Передъ ней виднѣлся блѣднобирюзовый океанъ осенняго воздуха.

Ей лицо обдувало душистымъ эфиромъ.

Выросъ силуэтъ странника съ просвѣтленнымъ жемчужнымъ лицомъ.

Солнечныя кудри и золотая, легко раздвоенная бородка свѣтились на вечерней зарѣ.

Это былъ онъ, ея смутный сонъ.

Вдругъ поднялась благословляющая рука его, осѣняющая знаменьемъ, но черный клобукъ склоненной монашки закрылъ отъ нея и странника, и блѣднобирюзовый океанъ.

Приподнялась.

Лежала въ маленькой кельѣ съ открытымъ, свѣтлымъ окномъ.

Сафирныя чаши въ окно плескались холоднымъ вѣтромъ.

Странника не было.

Старица, опираясь на посохъ, вся склонилась надъ ней, смотря испытующе: «Видѣла, знаешь — нашу тайную радость».

Въ окнѣ раздавался свистъ вѣтерка и грустно знакомый шелестъ осеннихъ листьевъ.

На блѣдной, небесной бирюзѣ трепетали, волнуясь, многошумныя красныя березки.

Среди нихъ засверкала черная одежда.

Изъ красныхъ листьевъ выглянуло какъ смерть бѣлое лицо юной монашки, пытливо глядѣвшей на нее.

Показался другой силуэтъ дряхлой старицы съ четками въ рукахъ, и старица, отряхнувъ листочки, свѣянныя на вуаль, пошла къ призывному звону.

Изъ листьевъ мелькалъ ея бархатный клобучекъ.

Скоро за одной монашкой показались и другія, и цѣлая вереница монашекъ, бѣличекъ, бѣлицъ и отроковицъ потянулась на призывный звонъ.

А березки грустно шумѣли и сквозили вѣчно блѣдной, осенней бирюзой.

Когда уже всѣ прошли въ соборъ и среди березокъ перестали мелькать и монашки, и бѣлички, и юницы, и отроковицы, показался онъ, точно весь сотканный изъ воздуха.

Она сказала: «Безуміе, призракъ—опять, вотъ опять».

Онъ стоялъ съ разведенными руками подъ сквознымъ золотомъ падающихъ листьевъ.

Онъ закрывалъ свои очи.

Стоялъ усмиренный—неподвижный.

Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

Солнечный шелкъ волосъ, терзаемый вѣтромъ, бушевалъ сіяющими прядями вокругъ сквозного, жемчужнаго лица.

Такъ онъ замиралъ, осыпанный листьями,—золотыми пролетающими временами.

Два листочка запутались въ его бородѣ, когда онъ поднялъ разведенныя руки ладонями вверхъ, и голосомъ, вздоху подобнымъ, призывно звалъ отъ времени:

«Довольно!»

«Скоро все облетитъ—пролетитъ».

«Времена засохли. Шелестятъ, какъ свитокъ: времена, какъ и свитокъ, свиваются».

«Пора!»

«Потому что все пролетитъ, и угаснетъ золотое время».

«Здравствуй, здравствуй!»

«Это я вернулся сказать о воскресеніи, потому что мы воскреснемъ и увидимся тамъ».

Въ небо плыло пепельное облачко.

Она съ ужасомъ видѣла край облачка сквозь его вверхъ ладонями воздѣтыя руки.

Медленно шелъ вдоль березокъ.

Впереди него сыпались красные, яркіе листья. И сзади сыпались тоже.

Словно онъ былъ занавѣшенъ голубой, вѣчно пролетающей порфирой, испещренной краснымъ золотомъ свѣянныхъ листьевъ.

Это былъ вѣчный водопадъ временъ.

Она шептала: «Здравствуй, здравствуй,—ты, какъ прежде, вернулся: міръ не безперемѣненъ».

Она вышла изъ кельи и пошла вслѣдъ за странникомъ.

Они шли.

Ничто ихъ не касалось. И никто ихъ не задерживалъ.

Онъ подвелъ ее къ безвѣстной могилкѣ на верху многогребенномъ, песчаномъ, и сказалъ ей, улыбаясь, будто спрашивая о чемъ то: «Смотри: вѣдь могила пуста».

На высокихъ, красныхъ, песчаныхъ холмахъ собрались богомольцы.

Тамъ воздвигали распятіе.

Неизвѣстный священнослужитель, точно весь сотканный изъ воздуха, стоялъ въ золотой, бирюзой отливающей рясѣ.

Тая, ряса сливалась съ небомъ.

Простиралъ свою руку въ блѣднобирюзовый, далекій міръ.

Блѣднобирюзовый, далекій міръ отливалъ янтарно-золотымъ.

Все было охвачено жидкими сквозными янтарями и пропитано ими.

Жидкіе янтари подернулись огненнымъ золотомъ.

Становились гуще, искристѣй.

Богомольцы въ бѣлыхъ рубахахъ, простоволосые, стояли съ восковыми, медовыми, мягкоистекающими свѣчами.

Неизвѣстный священнослужитель поставилъ на столъ деревянную миску со святою водою; онъ опустилъ въ воду пучекъ спѣлыхъ ржаныхъ колосьевъ.

Колосомъ окропилъ сосновыя дали.

Простиралъ свои руки въ блѣднобирюзовый міръ: блѣднобирюзовый міръ отливалъ янтарно-золотымъ.

«Господи, міръ созрѣлъ, какъ эти колосья: ей, гряди Господи».

«Господи!»

«Среди лѣсовъ воздвигъ я молельню мою: на песчаныхъ холмахъ водрузилъ я распятіе»

«Ей гряди, Господи!».

Все было охвачено жидкими сквозными янтарями и пропитано ими.

Янтари подернулись краснымъ золотомъ: становились гуще, искристѣй.

Неизвѣстный священнослужитель взялъ серпъ и серпомъ налагалъ крестные знаки во всѣ стороны:

«Украсьте, украсьте цвѣтами великую церковь міра, вы—міряне, и вы—церковники».

«Орари ваши—сердца—возносите, діаконы свѣтослуженія».

«Горѣ имѣемъ сердца»

На высокихъ песчаныхъ красныхъ холмахъ онъ стоялъ, предаваясь молитвѣ.

Воздвигалъ въ вѣтеръ крестное знаменіе.

Голосомъ, вздоху подобнымъ, призывалъ жнецовъ на жатву свою.

«Се грядетъ земной іерей, изъ блистанья серповъ сотканный».

«Се грядетъ земной женихъ, изъ свѣщного дѣйства въ поляхъ рожденный».

«Ты, женихъ, гряди къ могилкамъ нашимъ, постучи въ гробовую нашу плиту».

«Изъ далекой страны загробной облеки насъ жизнью и солнцемъ».

«Мы встрѣтимъ тебя, іерей нашъ, колосомъ, колосомъ, колосомъ».

«Колосись въ души наши».

«Ибо мы—твои нивы: нивы, нивы, созрѣвшія нивы».
«Ей, гряди, жнецъ нивный».

Бирюзовая риза истаяла. Она сливалась съ небомъ, отливая жемчугами.

Бѣлое лицо, омытое шелковымъ золотомъ, синими удивленными очами глядѣло на богомольцевъ, будто солнечное облако съ двумя просвѣтами лазури.

Надъ ними простерлись двѣ его руки—два его снѣжныхъ обрывка.

И богомольцамъ казалось, что это—не странникъ, а далекое облако, не риза,—а вышина.

Всѣ пали ницъ.

Голосъ странника, какъ призывной трезвонъ, еще раздавался надъ ними изъ далекихъ пространствъ:

«Риза моя—воздушная, золотая».
«Горизонтъ такъ янтаренъ».

Но это свисталъ вѣтерокъ, и богомольцы были одни.

Надъ ними было небо.

Тамъ застыло солнечное облако съ двумя просвѣтами лазури.

Мюнхенъ. 1906 года.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВОЛНЕНІЯ СТРАСТИ

Слезы росныя.

Было тепло и бѣло.

Кто-то свѣивалъ съ крышъ метельную лилію: бросалъ изъ нея мерцающіе крестики, звѣзды.

Онъ плясалъ на одинокой трубѣ надъ улицей.

Это былъ снѣжный шутъ.

Зазвенѣлъ ледянымъ бубенцомъ и просилъ:

«Воскресни, метелица».

Вѣтряный напоръ взвилъ на воздухъ шута сверкающимъ облакомъ снѣжинокъ.

Шутъ надвинулъ колпакъ. Бубенцами вскипѣлъ и плюнулъ въ улицу снѣжной струей.

Завизжалъ — обжегся весеннимъ вѣтромъ: «Я ужъ теперь шутъ погибшій».

«Я ужъ таю».

Запѣвало: «Снѣга мои текутъ. Пургой моей свистучей я не могу—мнѣ больно—проснѣжить».

«Разскажетъ пусть тебѣ, истаявъ, снѣгъ кипучій, какъ хочется мнѣ вѣрить и любить».

Прозрачно желтое кружево слякоти лежало на мостовой.

Мостовая оскалилась желѣзнымъ смѣхомъ лопатъ.

Лопаты шаркали по скользкому тротуару, скользили.

Захлебывались водою.

Мокрый вѣтеръ страстно запѣлъ: «Зори безумныя, зори червонныя, зори послѣдней пургой оснѣженныя».

Городъ обнажался въ мокрую пустоту.

Это шла старина, весна.

И вѣтеръ летѣлъ, проводя мокрыми руками по серебряным струнамъ капелей:

«Зо-о-ри-и па-а-слѣ-ѣ-дней пу-у-ргой».

«Убѣ-ѣ-ле-е-нны-ы-я-я».

Вѣтеръ сорвалъ съ крыши шута и тащилъ за шиворотъ въ воздухѣ.

Шутъ сребрился.

Все, что было въ его карманахъ, проснѣжилось—вызвѣздилось на улицахъ.

Онъ вѣтру шепталъ: «Не просыпаться ли и мнѣ? Лечь на камни и алмазами выложить мостовую?»

Ничего не мѣнялось. Мѣнялось время года.

Приближалась весна.

Улыбались другъ другу: «Будетъ весна, будетъ лѣто: весной на рѣкѣ плыветъ ледъ, пролетаетъ на струяхъ».

«Льдина, какъ лебедь, несется, несется».

«Между льдинами вода».

«Она журчитъ и ледъ подмываетъ. И ледъ плыветъ: плыветъ и таетъ».

«А лѣтомъ уѣдемъ на сѣверъ, отдохнемъ въ соснахъ».

«На сѣверѣ сосны».

Улыбались.

И шуршали мокрымъ снѣгомъ.

Крыши проржавѣли. Изъ ржавыхъ щелей рвалась озло-

женная струйка и ложилась на снѣгъ блѣдностраннымъ, узорнымъ пятномъ. Сыпался вечерній свѣтъ уходящаго солнца и точно не могъ разсыпаться.

Но солнце сѣло. Струйки погасли.

Хрупкая, бѣлая, какъ известковая раковина, ледяная кора рвалась подъ ногами, осѣдая въ желтую лужу бурѣющимъ пластомъ.

Видѣлись свѣтлые круги; испуганно заметавшись подъ ногами, они не могли успокоиться.

Это были воздушные пузыри.

Это просачивалась вода.

Дворникъ хлопалъ по льду тяжелымъ, желѣзнымъ ломомъ.

Ледышка за ледышкой отлетала въ сторону.

На ребрахъ короста отламывались многодробные, легколетные осколки, стрѣляя въ прохожихъ.

Шуту открылась неоглядная дыра. И протягивая, руки въ трубу, шутъ сказалъ: «Въ трубы проваливаются».

«Проваливаются».

И онъ провалился.

Тамъ, гдѣ вертѣлся снѣжный шутъ, взволнованно запорхали бѣлыя мухи.

А онъ вспоминалъ въ трубѣ: «Вотъ такъ же, бывало, здѣсь цѣловала меня невѣста-метелица».

«Сидѣла и думала обо мнѣ».

«Мы оба любили».

«Прошло это время. И вотъ она истаяла».

Тѣнь Адама Петровича, неизмѣнно выростая, рвалась впередъ отъ него, удлиняясь и тая на тротуарѣ.

Калоши Адама Петровича, все такъ же похрустывая, разрывали ледъ, проваливаясь и черпая воду.

А ужъ на стѣнѣ выростала еще тѣнь, а за ней поднималась еще.

И всѣ двойники выростали и таяли, уплывая впередъ.

Такъ шелъ онъ, окруженный кучкою призрачныхъ двойниковъ.

Такъ хлопалъ калошами онъ, проваливаясь въ лужи.

Когда же онъ пошелъ обратно, всѣ тѣ двойники, что истаяли, возникали опять и плыли обратно: выростали и таяли.

Шутъ вспоминалъ улицы, зараженныя таяньемъ:

«Мы, шуты, нашалили — и вотъ все таетъ: таетъ и разваливается».

Взглянулъ на себя просто и ясно и увидѣлъ, что струится.

И простроился.

Оттепель мертвенно положила его многослезнымъ холмомъ.

Протянулись лужицы. Разрѣзали холмъ синеватыми пятнами, и холмъ смякъ.

И струйки заговорили у тротуаровъ.

Повстрѣчали другъ друга, гдѣ звѣздочка-лампадка кропила пурпуромъ слякоть, озаряя образъ Богородицы.

Высокая, съ золотыми волосами, она шла къ нему легкой-вкрадчивой походкой.

Очи, уклончивые цвѣты, еще издали заяснѣли они на него.

Онъ спросилъ ее взоромъ, она не отвѣтила, только сказала:

«Сладкая у меня съ лѣта о Господѣ тайна».

Онъ опять спросилъ, она ничего не отвѣтила.

Только сказала:

«Вы теперь можете приходить».

Они подняли другъ на друга голубые глаза и замерли, какъ бы не замѣчая другъ друга.

Онъ улыбнулся, а она безъ улыбки прошла мимо, закрывая муфточкой стыдливое розовое лицо.

И, тамъ гдѣ стояли они, проливалось сіянье лампадки, старинное, вѣчно-грустное.

Все то же.

А на дворикѣ все было рыхлое, и снѣговая баба, повитая теплomъ, глядѣла вдоль.

Она глядѣла вдоль и говорила: «Онъ тутъ пролеталъ».

«Онъ вернется».

«Да, онъ вернется».

А когда все подтаяло, тамъ, гдѣ была снѣговая баба, осталась только воткнутая метла.

Капли на дворикахъ падали: ниспадали въ чашу безвременья.

Собиралась перловая влага.

И протекалъ ручеекъ.

Справа запѣвало: «Снѣга-а ма-а-и-и те-е-кутъ». «Въ таскѣ нѣ-ѣ-мо-о-о-о-о-о», а слѣва, гудя серебряной струей капели, вѣтеръ подхватывалъ: «о-о-о-но-о-чи-и паслѣдней пургой«...—«а-а-а-а-жетъ пу-у-сть тебѣ, а-а-кордъ м-а-а-и-ихъ с-а-а-зву-чи-и-и» пересѣкало справа.

И вѣтры сливались:

«И-и-но-чи-и бе-е-зу-у-мны-я, но-о-чи-и—безсо-о-о-о-о-чи-и-тся мнѣ вѣрить и любить».

И опять закипѣла метель.

Торжествующій хаосъ взметнулъ тучу снѣга.

Алмазы.

Слышался глубокій вздохъ, который давно начался и не могъ кончиться. Это шумѣли снѣга въ день предвесенній, метельный.

За ясными стеклами голубой гребень дня, вихряной, чесалъ сугробы; и сугробныя кудри курились серебромъ и золотомъ.

Свѣтлова вернулась изъ монастыря усмиренная, прозрѣвшая.

Въ кружевной ткани ея вьюжнаго сердца предвѣстія восходили, какъ солнце изъ метельныхъ облаковъ.

Замирала подолгу у окна, осыпанная воспоминаніями.

Въ опушенномъ окнѣ свистомъ, блескомъ, ароматомъ предвесеннимъ сквозной омофоръ снѣговой парчею царапалъ окна.

Бѣлымъ шлейфомъ, пургѣ подобнымъ, точно неслась по комнатамъ; бѣлымъ лицомъ, точно солнышкомъ, клонилась въ снѣговыя кружева; бѣлой душой, къ безсмертью вознесенной, точно рвалась изъ условій свѣтской жизни.

Вьюга распылилась дымомъ блѣдныхъ снѣговъ—зацвѣла горстью спѣлыхъ цвѣтовъ, бѣлолилейныхъ—подвѣнечной фатой кружевной изъ звѣздъ, звѣздъ.

Дымъ палъ на землю: легъ въ одну кружевную сѣть.

Она распылилась на диванѣ снѣгомъ шелковъ, брызнули алмазы съ пальцевъ руки ея бѣлолилейной, брызнуло колье ея на груди фонтанамъ звѣздъ, звѣздъ; качнула туфелькой, терзала туфелькой леопардовый мѣхъ.

Довольно.

Скоро она въ жизнь монастырскую канетъ, устанетъ.

Она говорила подругѣ: «Пора».

«Потому что все пройдетъ».

«И все воскреснетъ».

Невольно—

вьюгѣ очами сверкнула, блеснула,

потому что въ окнѣ изъ-подъ окна стая серебряныхъ нитей плеснула крыльями; съ крикомъ метнулись хохолки снѣговыя, улетали прочь быстро, шумно, ликующе.

И она говорила въ метельномъ, атласомъ бушующемъ платьѣ, и въ пургѣ складокъ лебедь—поясное зеркальце—казался ледянымъ осколкомъ, когда, играя цѣпочкой, она брызгала имъ.

И сквозныя пуговицы, какъ тонкія ледяныя раковины, хрустящія подъ ногами, блеснули хрусталемъ.

Прыгнула вьюга: стала разматывать клубки—сугробы: и парчевыя нити зазмѣились въ окна серебромъ.

Разметались по воздуху лиліи, снѣговыя трубы, полныя трубомъ, и рвались зычными лохмотьями.

Прыгнула къ ней подруга: стала обнимать ея атласныя колѣни: и воздушный цвѣтъ опылилъ ея головку снѣжкомъ.

Это взлетѣла надъ ней серебряная шаль красавицы на воздушно обвисшихъ кружевомъ рукахъ, и легла ей на встревоженную головку.

Невольно

подруга въ колѣняхъ ея головой шуршала, точно въ метельномъ холмѣ изъ сребра.

И шептала: «Пора—

вьюга мететъ, онъ идетъ».

Такъ онѣ шептались; пуховый вѣеръ Свѣтловой то миндальными лепестками облеталъ, то, вѣткой цвѣтовъ разсѣиваясь, надъ подругой воздушно росъ. Вкрадчиво-золотая головка клонилась ея въ блѣдный вѣеръ разрывной, клонилась безвластно синими, синими очами.

То сугробъ на землю свѣянный выросталъ, то, развѣиваясь, нитью мухъ, въ небо воздушно росъ.

Вкрадчиво-золотая нить распылялась блѣднымъ вѣеромъ разрывнымъ, фонтаномъ шумнымъ въ синемъ воздухѣ била свистомъ, хохотомъ, блескомъ.

Свѣтлова провожала подругу.

Снѣгами шлейфа проколебалось. Серебряные колосья, спадавшіе съ воротника, словно хрустальныя сосульки то ломались, то выпрямлялись.

И вдоль платья бѣжали тѣневыя пятна, производя волненіе.

Точно на нее бросили порфиру снѣга, испещренную таяньемъ, и вотъ она прошелестѣла по лѣстницѣ, провожая даму въ снѣжную пургу, точно на сладкую родину.

Налетѣла, прошелестѣла.

Разбилась о грудь подруги многопѣннымъ шелестомъ серебряныхъ колосьевъ.

Дамѣ открыли дверь.

Кустъ бѣлыхъ миндалей припалъ къ лицу дамы; снѣжными хлопьями припалъ къ лицу; на шубкѣ зацвѣлъ сквозными лиліями.

За стѣнами все цвѣло: стало осыпать дома цвѣтомъ нѣжнымъ и хладнымъ.

Изъ дверей щели брызнула горсть миндальныхъ лепестковъ, оцвѣтила мягко ноги лакею.

Пронеслась вверхъ по лѣстницѣ метелью атласныхъ юбокъ— уплывала въ лабиринтѣ комнатъ.

За стѣнами точно неслись въ облака и вздыхали въ небо.

Съ крикомъ въ облачномъ дымѣ махали пуховыми перьями, изъ-подъ кружевныхъ кораблей веслами въ голубую свободу гребли крикливо, радостно, шумно.

Съ крикомъ въ томленіи опрокинула руки; изъ-подъ кружевъ онѣ скользили въ глубь зеркалъ призывно, грустно, тоскующе.

Слышалась зацвѣтающая пѣснь, которая вотъ началась, и вотъ не могла кончиться, вотъ взвилась, и вотъ низлетѣла неосыпнымъ миндалемъ.

Когда убѣжала дама, она стала предъ большимъ зеркаломъ.

Когда убѣжала дама, блѣдносіяющая, кружевная шаль запеленала ее.

Когда убѣжала дама, алмазные колосья плескались вокругъ нея, и косые лучи заката, дробимые серебромъ, плясали на ней, точно веселый рой отблесковъ на расколовшихся льдышкахъ.

Холодныя стрекозы садились на окна и ползали по стеклу.

Но появился мужъ, обрюзгшій и толстый.

Двери замкнулись. Мужъ стоялъ передъ запертой дверью.

Лакей пронесъ мимо него скатерть, накрывая на столъ.

Прыснули вверхъ снѣга и какъ лиліи качались надъ домами.

Обрывались стеклянѣющими стрекозами; стрекозы садились на окна, смерзались снѣгомъ.

Стеклянѣли тамъ мертвыми лиліями.

Хаосъ зашевелился.

Въ первый разъ онъ къ ней приходилъ.

Она невольно вздохнула: шелестъ платья, вздохъ краснаго шелка ея, пронесся, точно токъ заревого пламени.

Она невольно вздохнула: голосъ прошлаго, ярь ночныхъ многомѣсячныхъ мечтаній ея, воскресалъ, какъ цвѣтокъ гвоздики изъ-подъ брошенной снѣжной вуали пурги.

Онъ невольно вздохнулъ: голосъ вѣтра, шептавшаго ему: въ трубѣ загудѣлъ, точно лебедь, запѣвшій о воскресеніи.

Они невольно вздрогнули: крылья метели, свиснувшихъ въ окнѣ, опять замелькали, точно крылья воскреснаго лебедя.

Она вся протянулась къ нему. Удивленно взглянула, въ упоръ взглянула желаніемъ.

Онъ весь протянулся къ ней. Пытливо взглянулъ, въ упоръ удивленно.

Точно мягкая кошка бархатной лапой, рукой гладила его руку. Точно бѣлая кошка снѣговой лапой, метель царапала окна.

Она запѣвала никогда незабытой мечтой, безстыдно кивала и точно смѣялась надъ чѣмъ-то.

Не казался ли онъ никогда не забытой мечтой, потому что стыдливо молчала передъ нимъ и точно все искала въ немъ чего-то?

Метель запѣвала старинной, никогда не смолкавшей меч-

той, и безстыдно взметала къ окнамъ парчи, пелены, бѣлые шелки,—звѣзды и перлы.

Рылась въ сугробахъ и точно все искала чего-то.

Легкой, мягкой укоризной изъ-подъ вспушенныхъ волосъ, изъ-подъ шелковой, какъ льняная горсть, бородки смѣялся чуть виднымъ смѣхомъ Адамъ Петровичъ.

Въ очи его очей ея бархатъ темный, синій стыдливо уплывалъ, призывно и тихо. Въ очи ея очей его молньи ярыя, синія властно сверкали, страстно, настойчиво.

Легкимъ, тихимъ восторгомъ изъ-подъ завѣсъ метельныхъ, изъ-подъ условій свѣтской жизни, узнавала она въ немъ едва уловимый образъ странника.

Грознымъ, настойчивымъ свистомъ вьюга звала ихъ въ обитель полей, лѣсовъ, просторовъ.

Комнаты сплетались въ одинъ таинственный лабиринтъ, и голосомъ стенающій полковникъ, какъ возникшій рокотъ временъ, то басилъ глухою угрозой, то шпорами звякалъ по мягкому ковру,—

и если пальцы его, точно царапая воздухъ, метались вдоль эксельбантовъ, снѣжная моль, точно царапая воздухъ, съ эксельбантовъ летѣла къ лицу Адама Петровича;

и если глухою грозою онъ взволнованно косился на фокусника—рокочущей, какъ рокотъ метелей грозой,—если атласнымъ, шушукнувшимъ платкомъ, отрясавшимъ моль, бросался на старика,—

какъ миротворная лилія ея рука,

качаясь,

то протягивалась между ними, то жалобно закрывала ей воздохнувшее лицо;

какъ снѣжная птица,

качаясь,

то въ окна глядѣла метель, то улетала въ просторы.

Кружевнымъ платкомъ отгоняла моль; кружевные рои роились у фонарей.

Бѣлый бархатъ снѣговъ то мягко хрустѣлъ въ окна, то расцвѣталъ горстями брызнувшей моли, и если была она, его душа, въ бѣломъ бархатѣ креселъ взволнованная заря, если зарей она, зарей клонилась къ камину,—

раскаленные уголья камина бросали, какъ солнце, ее, будто лучъ, на бѣлый бархатъ снѣговъ.

Усмѣхнулся полковникъ, сѣдиной вздыбившій надъ ними,— въ эксельбантахъ,

отторавшихъ и зацвѣтавшихъ.

Вотъ отъ страсти его ледяные грозно о палецъ ломались пальцы,—

и точно местью зазвякали шпоры: прилично онъ задавилъ на тускломъ лицѣ улыбку и пошелъ вглубь комнатной амфилады, какъ тайный мститель, старый мститель, заглянувшій мститель въ зимнія окна: тамъ метельный іерей, конемъ іерей вздыбившійся надъ домами—

въ бриллiантахъ,

отгаравшихъ... и зацвѣтавшихъ;

тамъ льдяныя его руки, грозно руки копьемъ потрясали.

Бриллiанты въ окнахъ плачемъ разсыпались, плачемъ вскипали и вновь разсыпались.

Въ окна грозился лѣсъ копій, остріями пролетавшій, въ стекла градомъ лѣсъ копій стучавшій,—

въ стеклахъ сверкавшій.

Лебедь въ окнѣ расплескался бѣлой прелестью, улетѣлъ, и въ окнѣ теперь крикливо пролетали лебеди стаями,—стаями, далеко улетавшими, сѣкли пурговыми теперь перьями, сѣкли перьями.

Адамъ Петровичъ ей улыбнулся старинной прелестью, и въ душѣ ея взволнованной пропылали пиры — пирами, давно пропылавшими,

грудь разрывало одно, навѣкъ одно.

Чѣмъ настойчивѣй, мягче подвигался онъ къ своей милой, чѣмъ нѣжнѣе руками ея рукъ онъ касался, тѣмъ бархатнѣй къ сердцу приливало счастье,

тѣмъ стыдливѣй, кокетливѣе, невозможнѣй, тревожнѣй она отъ его отступала протянутыхъ рукъ.

Чѣмъ жарче сгорали златистые уголья, чѣмъ больше на нихъ проливался сумракъ, тѣмъ бѣлыя кресла означились явственнѣй въ темени лебедями, распростершими крыльями, тѣмъ быстрѣе неслись, любящіе на крылахъ неслись лебединыхъ.

Онъ говорилъ:

«Уходилъ я отъ васъ въ раздолья и шири, но и тамъ посѣщали меня закатомъ, посѣщали меня.

«Точно пятнистая кошка тамъ проползала вкрадчиво мягко.

«Призывала меня кошка къ новой жизни, мнѣ вздохнула кошка о невозможномъ, вздохнула все о томъ же кошка».

Призывала метель ихъ къ жизни, имъ вздохнула вздохомъ снѣжнымъ, вѣтеръ метель взвилъ.

Онъ говорилъ:

«Чѣмъ буриѣе била струя вѣтра полей, тѣмъ настойчивѣй

я, властнѣе я къ вамъ вернулся». (Бѣлый лебедь опять взметнулся).

«Я къ вамъ вернулся, къ вамъ, за вами, для васъ». (Бѣлый лебедь разсыпалъ алмазъ).

«Намъ открыты святые восторги, вѣчные восторги, яркіе, потому что всякая любовь ко Христу, какъ на крыльяхъ уноситъ».(На спинѣ лебединой сидѣли,глядѣли,какъ лебедь уноситъ).

«Я люблю: грудь тѣснитъ благовѣстіе: пойдемъ въ лѣса, пойдемъ въ поля, и никто не удержитъ.

«Мы воздвигнемъ въ поляхъ и лѣсахъ келью всеобщаго счастья. (Лебедь пѣлъ: «Летимъ въ лѣса, летимъ въ поля — туда васъ уноситъ». Лебедь летѣлъ и пѣлъ,—

лебедь вознесенія).

Охватилъ ея станъ и проспѣлъ: «Вамъ дано: о, дерзните, желанная». (Все неслась сквозь метельный туманъ лебединая пѣсня, странная).

Онъ шепнулъ.

(Лебедь плеснулъ крыломъ).

«О во всемъ Христосъ, о во всемъ, Неизмѣнный, все Тотъ же. Онъ межъ нами въ старинной лазури, въ бѣлизнѣ вѣчно грустной, все въ томъ же пурпурѣ». (Въ снѣговой бѣлизнѣ лебединыя бури).

Уронила руку къ нему на плечо: «Ну чего вы, голубчикъ, ну о чемъ вы, голубчикъ?»

«Это все только снится, все снится, вамъ снится. Это вы на яву, это вы на яву, это вы на яву?»

«Нѣтъ, во снѣ, вы во снѣ: да, во снѣ».

Точно море желтенькихъ лютиковъ надъ его челомъ — бѣлымъ облакомъ—кудри лучами взлетѣли.

(Во столбѣ ледяномъ лебединую пѣсню запѣли.
Метель лебедей проносила).
Она говорила:

«Знакомыя лица приходили неизмѣнно, говорили о томъ же, а я укрывалась отъ васъ въ монастырь, гдѣ ждутъ странника просвѣтленными ликами». (Ночь цвѣла лебедиными, оснѣженными криками).

«Онъ всталъ предо мною усмиренный, прекрасный.

«Вы дрожите. Отчего вздымается ваша грудь. Отчего у васъ солнечный шелкъ кудрей вокругъ сквозного вашего, жемчужнаго лица? (Вновь сквозные жемчужные лебеди понеслись въ серебрѣ—безъ конца, безъ конца).

«Вы зовете, зовете».

«Странникъ, какъ лебедь, зовомъ вставалъ». (Лебедь крыломъ перловымъ опять застучалъ).

«Странникъ лучомъ мнѣ сверкалъ, какъ сверкала метель снѣжной пѣной».

«Это вы зовъ метели? Нѣтъ, не вы».

«Нѣтъ».

(Лебеди пролетѣли—лебедей нѣтъ).

Звукъ ея голоса запѣвалъ, будто летъ снѣжной пѣны; обернулась, удивленно взглянула, испуганно: зеленый мундиръ и сквозное, бритое лицо, прозрачное, въ ореолѣ серебряныхъ листьевъ тряслось, чуть качаясь, въ беззвучномъ хохотѣ—

нѣтъ, нѣтъ:

на высокомъ, зеленомъ столѣ закачалась лампа въ сквозномъ, бѣломъ абажурѣ.

Изъ-подъ рѣшетокъ камина желто-сѣрый гепардъ въ черныхъ кольцахъ остывалъ угольнымъ бархатомъ.

Рука ея безвластно упала вдоль колѣнъ: взоръ тоскливо вперила въ желтые угли хрустѣвшаго жаромъ камина, испещренные налетомъ золы, точно сѣрыми пятнами.

Слышала, какъ прорыдалъ тамъ рояль. Что-то хотѣла прибавить. Забыла.

Ничего не прибавила.

Изъ открытыхъ дверей, какъ изъ пастей лабиринта, какъ изъ заколдованной дали ихъ покрыли сѣтью аккордовъ и они поникли въ сѣтяхъ.

Тамъ вихряной сѣдиной, какъ нѣкій священнослужитель—

въ эксельбантахъ,

то зацвѣтавшихъ, то отгоравшихъ,—

Свѣтозаровъ грозно вздыбился руками надъ роялемъ; снѣговой дымъ яро клубился въ окна: тамъ нѣкій іерей—

въ брилліантахъ,

въ стекло сверкавшихъ, въ стекло стрекотавшихъ—

воздушно вздыбился конемъ надъ домами; снѣговой дымъ яро клубился въ окна, и руки полковника то поднимались, то падали.

То нажималъ рояль, а то потрясалъ рояль, и будто копье ледяное стучало по клавишамъ.

И копье ледяное стучало въ окнѣ: кто-то метелью вскипалъ и въ стекла швырялъ градъ брилліантовъ.

Стаи брызнувшихъ копій щелкали въ окна.

Изъ открытыхъ дверей, какъ изъ пасти лабиринта, поднималось глухое стенанье рояля и вкрадчивый, вкрадчивый голосъ:

«Уста-а ма-а-и-и ма-а-лч-а-атъ... Въ т-а-а-скѣ-ѣ нѣ-ѣ-мо-ой и-и-

«жгу-у-у-чей. я не-е м-а-а-гу-у.... мнѣ-ѣ бо-о-о-- мнѣ бо-о-
о-о-о-о-
о-о-о-льна га-а-во-рить».

Въ душѣ Адама Петровича пропылала тайна — горькая, затомила.

Въ душѣ ея пропылала тайна и затомила.

Въ окнѣ грозная завывала буря, снѣжная буря заголосила.

Громко хрустнули пальцы его заломленныхъ рукъ, когда опустилъ ихъ.

Еще. И еще.

Ярко брызнула цвѣтокъ огневой на него изъ заломленныхъ рукъ, когда подошла къ нему.

Изогнулась призывнымъ изгибомъ. Его уста застыли скорбнымъ изгибомъ.

Изъ открытыхъ дверей, какъ изъ пасти лабиринта, поднималось глухое стенанье рояля и голосъ:

«Рааа-
скаа-жетъ пуу-сть тее-бѣѣ аа-коордъ
маа-иихъ саа-звуу-чій
«Каа-
аа-акъ хоо-чиится мнѣ вѣѣ-риить ии люю-бить.»

Груда червонцевъ пылала тамъ, испещренная сѣрыми пятнами, какъ золотой, сонный леопардъ.

Такъ тихо опускали глаза, такъ легко горѣли въ яростномъ пламени страсти, —

точно распинала ихъ крестная тайна, точно рвались съ кипариснаго древа, точно гортань пересохла отъ жажды, точно завѣса срывалась съ храма, точно мертвецы поднимались изъ

гроба, точно глядѣли имъ, точно глядяли имъ въ души

свинцовые ихъ, тупые зраки—

такъ тихо опускали глаза, такъ яростно сгорали въ страстномъ бархатѣ.

«Дай, счастья, дай.»

Томно губы ея зазмѣились страшной улыбкой, пламенной до боли:

«Милый, вѣчно желанный, мой милый—

«дай счастья, дай».

Хохотали изъ дали клавиши рояля, точно въ пропасть срывались камни, точно кричалъ умиравшій отъ страсти, точно мяукала, точно мяукала страстная кошка.

«Милый, вѣчно желанный, мой милый—

«дай счастья, дай».

Руками въ стрекотавшихъ браслетахъ, цвѣтущихъ золотомъ у его глазъ томительно охватила его голову, быстро, властно, настойчиво, и щеки ея озарились розовымъ бархатомъ.

Устами, опушенными золотомъ, цвѣткомъ нарцисса, бѣлѣвшимъ въ муаровыхъ отворотахъ сюртука, прижался—

и руками въ стрекотавшихъ браслетахъ томительно охватила его, быстро, властно, настойчиво, лишь щеки его озарились страстнымъ бархатомъ.

И пурпурный визгъ алаго шелка, какъ визгъ багряницы, терзаемой объятьемъ, и въ рукахъ его жарко тающій станъ, смеженные глаза, щекочущіе рѣсницами, слились въ одну смутную, неизъяснимую грусть.

И холодный визгъ хохочущихъ клавишей, какъ визгъ заплясавшихъ метелей, и холодный громъ, пролитый въ зами-

рающій шепотъ, и колко пляшущія форто дисканта, звучали изъ глубины лабиринта, какъ прелестная, колдовская грусть.

Онъ ей шепнулъ:

«Чѣмъ святѣй, несказаннѣй вздыхаетъ тайна, тѣмъ все тоньше черта отдѣляетъ отъ тайны содомской.»

«Въ бѣлизнѣ и лазури Іисусовой вихремъ кощунственнымъ протекаютъ пурпуры—пурпуры Содома и Гоморры. Ангельски, ангельски—

«въ душу глядятся однимъ—
навѣкъ однимъ».

Она его увлекла на диванъ.

Когда очи смежила, пурпурныя губы ихъ, доли взрѣзанныхъ персиковъ, жадно терзали другъ друга, томительно.... до боли; безвластно раскинулись ея знойныя руки, и платье проструилось на полъ огневымъ, измятымъ лепесткомъ.

Когда очи смежила, крики рояля — крики убиваемыхъ птицъ, больно впивались имъ въ уши, томительно.

Когда, вырвавшись отъ нея, лицо закрылъ онъ стыдливо руками, ея нога свѣсилась на коверъ и пролетѣла свистомъ ткань, выше колѣна открывъ черную, шелковую, змѣей протянутую ногу на желтомъ плюшѣ дивана.

Когда вспомнила, что сдѣлала, соскочила съ дивана; оправляя платье и волоса, сказала ему:

«Хоть вы и о тайнѣ, но и васъ уязвилъ соблазнъ. Уходите и дайте опомниться».

Изъ жуткой пасти, изъ-за стариннаго рояля, изъ-за нотъ сѣдиной возникалъ надъ нею полковникъ.

Хищно, пытливо, безумно, все тѣмъ же угрожая, тѣмъ же, все тѣмъ же.

Выгибаясь, какъ потухшій сѣрый гепардъ, на рояль уронившій лапы, онъ приникъ къ пюпитру большой, оскаленной головой въ темныхъ кольцахъ дыма бархатнымъ тѣломъ, словно готовя прыжокъ,

словно несясь въ метели.

И въ метели мчался всадникъ вихряной въ снѣговомъ плащѣ изъ звуковъ.

Полковникъ заглядывалъ въ окна:

тамъ вздыбился надъ домами іерей — вьюжный іерей, крикливый.

Заголосилъ: «Приближается».

Замахнулся вѣтромъ, провизжавшимъ надъ домами, какъ мечомъ:

«Вотъ я... на васъ... вотъ я...»

«Моя ярость со мною»...

За нимъ мстители-воины, серебромъ, льдомъ окованные, поспѣшали.

Яро они, яро копьями сверкали, сугробы мечами мели, мечами

А изъ жуткой пасти комнатъ, изъ-за нотъ уплывалъ въ метель Свѣтозаровъ, и когда Свѣтлова поймала въ зеркалѣ его взоръ—точно отмахиваясь отъ отвѣта руки полковника падали на рояль, бриллiантами трезвоня по клавишамъ.

А изъ жуткой мглы пурговой, изъ-за трубъ по крышамъ летѣлъ всадникъ метельный, и когда люди глядѣли на крыши—точно отмахиваясь отъ взоровъ руки всадника падали на ледяной мечъ, сверкавшій на бедрѣ.

Снѣжныя руки скользили по окнамъ, пальцами трезвоня въ стекла, точно въ клавиши.

Бѣшено взревѣлъ старинный рояль, точно голосомъ метельнымъ, точно мстительнымъ воплемъ мстителя все того же.

И уста полковника размыкались темнымъ крикомъ:
«Каа-къ
хоо-чии-тсяя мнѣ вѣѣ-риить иии-
люю-бии-ть».

Воздушная игуменья.

Дрожавшій подкравшійся мужъ, упавъ къ ней на грудь кольцами мягкихъ волосъ, вставшихъ пѣтушьими гребнями, чернымъ муаромъ отворотовъ разстегнутаго сюртука зашуршалъ на ея платьѣ, и кольца зазвякавшихъ его брелоковъ въ красномъ пламени шелка, и его сухія цыплячьи лапы, ласково щекотавшія атласныя ея ланиты: все изъ сердца ея исторгло тоскливое восклицанье, когда, скромно отстранивъ упругой ногой его прилипчивыя ноги, она закрыла лицо руками.

Тревожный, метельный голосъ, взывающій къ ней все тѣмъ же волненьемъ, переполнилъ сердце; стенающій крикъ о похотливыхъ ночахъ, о мертвыхъ объятьяхъ, о вновь и вновь отдаваемомъ тѣлѣ, — стенающій крикъ тоской заливалъ душу.

Такъ пошла она прочь, а онъ, въ рукахъ зажимая красныя горсти ея шелковъ, старался ее повалить, и сладострастные глаза, жестоко сверкнувшіе въ опухшихъ мѣшкахъ, и торопливыя руки, взвившіяся на ея платьѣ, распаляли его бурнымъ бѣшенствомъ.

Молодая красавица съ дрогнувшими ноздрями, безстрастно уклоняясь, покорно силилась улыбнуться: золото ея волосъ, мольбой протянутыя руки, грудной плачъ свирѣльнаго голоса, все возбуждало въ сластолюбцѣ одно, одно: «Когда молодая

женщина живетъ подъ одной кровлей со мной, я добываю ее насильно».

Когда вздулась метель подъ окномъ, ея кличъ разсыпался надъ гремящими крышами; тамъ въ окнѣ бушевала она шелками снѣговъ призывомъ, призывомъ, закинутымъ въ небо, настойчиво призывала томленіемъ.

Въ неровной борьбѣ она розовымъ ноготкомъ больно царапнула дряблую щеку.

Онъ ее яростно повалилъ, и красавица изогнулась краснымъ, атласнымъ станомъ, а ея точеные пальцы въ стрекотаньѣ пляшущихъ браслетъ укрыли ей головку отъ побоевъ его засвиставшей въ воздухѣ руки: такъ она замирала, вздрагивая подъ ударомъ; изъ-подъ камина жарко калили золотые уголья.

Съ бѣлаго бархатнаго дивана она скатилась краснымъ закатомъ, оросившемъ снѣга, а сіяющая куча углей сверкала надъ ней изъ камина, точно осколокъ уплывающаго солнца.

Вотъ увлажнились очи сквознымъ жемчугомъ, и, какъ дикая испуганная касатка, она кричала, устало сметнувъ золотое облачко волосъ, и кличъ ея утопалъ въ дикомъ кличѣ метелей, шелками снѣговъ закинутомъ въ небѣ призывомъ и смертнымъ томленіемъ.

Когда надругатель ушелъ въ клубъ, она поднялась съ леопардовой шкуры: такъ она стояла, покрытая волосами, съ синими высоко закинутыми глазами, и жемчужина, не дрожащая на мраморной щекѣ, и сладкій ароматъ духовъ, и пальцы, терзающіе кружевной платокъ—все сливалось въ ней въ одну смутную, неизъяснимую грусть.

Метель запѣвала о томъ, что старинная старина, къ намъ взывающая томленіемъ съ воздушнымъ, какъ воздушные рои снѣжинокъ, полетомъ все о томъ же запѣвшей любви, — что старина поетъ все неумолчнѣй, и зоветъ-то и плачетъ-то, ластится и раскачиваетъ легкую колыбель, словно дѣточки, сиротѣющей души:—

метель запѣвала, и снѣга, пелены, парчи бросались на окна, когда жадныя уста ея лобзали окно, какъ и встарь лобызали.

Метель запѣвала: «Ууй-мии-теесь воо-лнее-нія страаа-аааастии....»

«Уу-снии бее-знаа-аа-дее-жнаа-ее сее-ее-рдцее»....

Изъ-за стариннаго рояля, изъ-за приподнятаго пюпитра устало возникалъ полковникъ поблѣднѣвшимъ отъ грусти лицомъ, и будто въ ужасѣ вставшіе надъ теменемъ сѣдые волосы тихо, такъ тихо вырисовывались изъ полумрака и уплывали за пюпитръ:

«Я плаа-аа-чуу.... Я страа-аа-ждуу....»

Изъ-за ряда лѣтъ, изъ-за черныхъ, черныхъ дѣяній возникалъ онъ передъ собой — онъ, еще ребенокъ — съ ужасомъ расширенными очами, точно молившими о пощадѣ: «За что я хотѣлъ только правды, о, за что же?» — вставалъ и уплывалъ въ старину.

Къ нему пришла она съ невольнымъ влеченіемъ въ водопадномъ, бѣломъ пеньюарѣ, словно изъ воздуха, и жалобными волнами своихъ закатныхъ упавшихъ волосъ отерла потъ смертнаго томленія съ его чела; и личико еще сырое, сырое отъ слезъ испивало грусть его бархатомъ рыдающаго голоса, устами повторяла за нимъ слова, мокрый платочекъ терзала на груди, когда какъ сонный, рыкающій левъ, онъ ронялъ

на руки больную, больную голову съ закрытыми вѣками, потухающимъ взоромъ.

Они пѣли: «Дуу-уу-шаа ии-стаа-миилаа-сь въ раа-аазлуу-уу-кѣѣ».

Тревожный метельный голосъ о разлукѣ, о томъ, чего нѣтъ, о дѣтствѣ и о томъ, куда все слетитъ, взывалъ за бѣшенымъ платкомъ, свистѣвшимъ въ окнѣ.

Чѣмъ безвластнѣй къ старику склонялась красавица, тѣмъ разымчивѣй становилась его грусть, тѣмъ и очи, и руки, и губы къ ея очамъ, рукамъ, ея губамъ приближались невольнѣй.

И прижался лицомъ бритымъ своимъ къ ея ласковымъ пальцамъ, и вздохомъ глубокимъ положила уста на его изнущенный лобъ, точно сестра, упокоившая больного своего стараго брата: «Вмѣстѣ мы любимъ: вы—меня, а я—его; вмѣстѣ, усталые, мы влачимся къ могилѣ»....

Вотъ поднималась метель, какъ воздушная бѣлая игуменья, изогнулась атласнымъ станомъ подъ окномъ, а хладные ея пальцы въ стрекотаньѣ ледяныхъ четокъ плеснули серебряной волной муаровой мантіи, точно засвиставшими въ небо крыльями: такъ она тянулась къ окну; изъ-подъ ея рѣсницъ нѣжно взирали пустыя небеса, нѣжно; руками точно терзала алмазы шелковыхъ своихъ ризъ, разорванныхъ блѣдными клочьями, а зовъ слеталъ съ ея устъ, призывный, стенающій:

«Я страа-аа-ждуу... я жаа-аа-ждуу... Дууу-ша ии-стаа-миилаась въ раа-злу-уу-укѣѣ.»

Она думала о томъ, что старинное, старинное, грустью ее звавшее томленіе съ огнемъ ей въ грудь дохнувшей любви, и

запѣвавшее въ сердцѣ метелью, будто той же метелью, и все тѣмъ же мѣсяцемъ склонилось надъ ней, и его знакомымъ до ужаса, будто въ дѣтствѣ снившимся лицомъ, когда жарко тамъ цѣловалъ онъ ея гдѣ-то ужъ процѣлованными устами своими, какъ и встарь, успокоилъ гдѣ-то изъ старины приподнятымъ взоромъ.

Блѣдная ея, утомленная головка съ шелковымъ огнемъ на мраморѣ тѣла разгорѣвшихся волосъ, и улетающій ея взоръ, будто вся-то она уходилась въ тоскѣ, будто все-то она смерть подзывала,—все говорило о смертной загадкѣ,—все: и она, и мѣсяцъ, когда мѣрно поднялъ онъ на нее, какъ и встарь, свой серебряный дискъ, свои долгіе взоры.

Шепотъ весенняго времени.

Трясущееся пятно въ ореолѣ сѣдинъ пѣтуху протянуло записку.

Прочелъ, вспыхнулъ, какъ огонь, и словно волны краснаго, бордосскаго вина разлились на щекахъ.

А на него кивалъ полковникъ, хрипя отъ кашля, точно звѣрь, оскаленный на зарю.

Сухо замѣтилъ, задавивъ кашель: «Это меня не касается. Со всякимъ положеніемъ примиряешься. Пора и мнѣ восвояси».

Но пѣтухъ, звѣрски сосредоточенный, съ сигарой въ рукѣ метнулся за старикомъ.

Впереди пробѣжалъ лакей съ подносомъ.

Въ окнѣ снѣгъ слезы проливалъ. Рыхлый сугробъ опадалъ. Протоптался грязью, сіяя пятнами—темными пятнами.

Снѣгъ свозили.
Еще и еще.
И вездѣ потянулись воза.

Взмолился пѣтухъ: «Полковникъ, полковникъ».

Кряхтя и вздыхая, повернулъ полковникъ къ нему безбородое лицо и улыбался полковникъ кривымъ ртомъ: неизвѣстно чему улыбался полковникъ.

Прыснули эксельбанты на зеленомъ мундирѣ и громовый басокъ сотрясъ нѣмоту: «Да эхехе, батенька—эхехе».

Обнялъ стараго и повелъ его въ переднюю, и никто не видалъ одинокихъ угровъ старика, протянувшаго руки, усталыми бельмами.

Шелестомъ подъ окномъ оборвалась рыхлость.
Сыро прошлепали грузныя ноги.
Возлепетала струйка. Взмолилась.
Уснула.

Пѣтуху казалось, что лакеи смѣются.

Одинъ былъ безъ бороды: онъ все косилъ. Другой, старичекъ, съ выпяченной губой точно профыркалъ въ бакены. Онъ потащился за шубой и палкой съ протянутой рукой.

Желтый снѣгъ покорно свозили.

Шелестѣлъ шелестъ лопатъ, какъ старушечій шепотъ весенняго времени.

Лѣнивая, лунная ночь, лепетавшая талыми пятнами, изливалась льющимся лепетомъ.

Громыхали пролетки: «Тра-ра-ра-та... старое»...

«Все то же».

Ворона съ тающей кучи удивленно хрипѣла въ мокроту.

Ихъ везъ извозчикъ, рокоча по камнямъ, брызгая талой слякотью.

Чей-то тревожный окрикъ странно раздался въ глухой темнотѣ: кто-то кого-то сталъ звать куда-то.

Все казалось теплымъ и мокрымъ—весеннимъ; все опадало мокротой—дождемъ и снѣгомъ.

Старый извозчикъ поднялъ верхъ пролетки уныло, ворчливо, и пахнуло чѣмъ-то роднымъ.

Они вышли на тротуаръ: нищенка, безносая, сѣрая старушка бросилась къ нимъ съ угла:

«Подайте слѣпенькой, Христа ради».

Свѣтозаровъ подвелъ къ дому толстяка, изъ шубной шкуры его палецъ поднялся къ занавѣшеннымъ окнамъ: «Тамъ она отдается ему: тамъ они наслаждаются. Обнимаются поцѣлуями».

«Слѣпенькой, Христа ради».

Нищенка поворачивала сѣропепельное лицо, раскрывала очи и вращала бѣлками.

И не прозрѣвала.

О, еслибъ прозрѣла, о, еслибъ не была она слѣпа.

Словно треснувшее стекло полетѣли изъ желоба оборванныя сосульки, трезвоня по мостовой глухимъ рыданьемъ, и разлетѣлись звонкоколкимъ сребромъ.

Черная тѣнь засквозила въ окнѣ.

Она протянула темныя, темныя руки, уронила тѣневой свой, темный, какъ уголь темный, черный ликъ.

Засквозилъ другой контуръ тѣневой—темный, темный: мутный, загасилъ свѣтъ.

Два старика стояли подъ окнами. Обнимались и плакали.

«Тра-ра-ра-та-старое»...

«Все то же».

Громыхнула пролетка.

Старики сѣли въ конку: конка отражалась стеклами въ стеклѣ, въ отраженныхъ стеклахъ—отраженія тусклыхъ, уличныхъ фонарей.

Они издали гнались за конкой, нагоняли и пропадали въ отраженномъ стеклѣ: тамъ слѣпилъ очи неотраженный фонарь.

Фонарь отставалъ, вновь вырастало отраженіе конки.

Вновь отраженный фонарь нагонялъ отраженную конку.

Свѣтозаровъ сказалъ: «Всѣ мы призрачнымъ отраженіемъ летимъ за призрачной жизнью».

«Настигаемъ и умираемъ».

Скашивалъ глаза, бормоталъ въ мѣхъ шинели, а Свѣтловъ все молчалъ и хмурился. Оба тупо блѣднѣли въ тупыхъ сумеркахъ.

Спины ихъ были выгнуты. Головы низко опущены.

Такъ стояли они передъ домомъ Свѣтлова, прощаясь другъ съ другомъ.

Чей-то тревожный окрикъ раздался изъ чернаго дворика: кто-то кого-то куда-то звалъ.

Это дворникъ изъ отхожаго мѣста навелъ свой фонарь на обмокшую кучу: куча была не куча: безобразникъ обнималъ горничную.

Свѣтъ упалъ: замелькали ихъ пятки. И дворникъ ругался: но казалось—кто-то кого-то куда-то звалъ.

Полковникъ видѣлъ: вспыхнулъ мертвенный свѣтъ подъѣзда; кряхтя и вздыхая, Свѣтловъ задрожалъ въ руку лакея, пихая шубу. Лакей, затворяя дверь, улыбнулся кривымъ ртомъ неизвѣстно чему.

Кто-то куда-то позвалъ его, какъ и въ дѣтскіе годы, когда-то.

Обернулся.

Голубоглазая дѣвченка задорнымъ носикомъ смотрѣла ему въ лицо.

«Эй, стариканъ: мнѣ четырнадцать лѣтъ, проведемте ночь».

И старое, всѣми забытое, всѣми оставленное лицо торопливо закрякало, ушло въ выцвѣтшій мѣхъ шинели въ беззвучной судорогѣ затряслось съ ужасомъ широко раскрытыми въ ужасъ ночи глазами.

Не то смѣялось, не то закачалось въ безслезномъ рыданьи.

Голубоглазая дѣвченка прыснула въ него синими искрами, лукаво смѣялась невиннымъ личикомъ, звонко запѣла скабрезную шансонетку: «Тра-ра-ра-та... Тра-ра-ра-та»...

«Старое, то же»—оборвалъ онъ ее.

«Рое-рое-рое» громыхнула пролетка. Посадилъ въ пролетку. Завернулъ въ шубу.

Пролетка тронулась.

Сугробы опадали, какъ застывшіе трупы, осіянные блѣднымъ блескомъ фонарей.

Жестяной головой выше, выше въ окно бросилъ взоры стрекотавшій стеклянный фонарь.

Освѣтилъ комнату лучевою рукою.

Голый старикъ въ руки склонилъ сѣдину, и съ рыданьемъ шатнулся на стулъ.

Впереди него чье-то тѣло упало лицомъ въ подушку.

Задвинулись шторы, и словно черныя волны небытія разлились въ комнатѣ.

Слышался шелестъ и вздохи, и чья-то старая о погибшей любви мольба.

Была черная ночь.

Кто-то изъ тьмы кого-то позвалъ: «Опять,—

опять: мнѣ больно, больно».

Еще. И еще.

И пропѣлъ пѣтухъ.

Грязная развратница—городъ—раздѣвалась.

Ворохъ лохмотьевъ, какъ шепотный водопадъ, валился съ нея, обнажая старушечье тѣло.

Чѣмъ безстыднѣй лобзалъ ее вѣтеръ, тѣмъ безстыднѣй мяукала она влюбленной кошкой:

«Уммау-ммууу-моау-мау-ааун-яяйхр...»

Въ старинѣ.

Знакомые абрисы домовъ высились неизмѣнно.

Говорили о томъ же, все о томъ же.

Все уйдетъ. Все пройдетъ. Уходя, столкнется съ идущимъ.

И останется неизмѣнное,
Все то же.

Все наливалось тьмой, и усталый полковникъ дымно-сѣрыми кольцами проваливался въ черныхъ тѣняхъ.

Изъ-подъ упавшей гривы волосъ въ желтый пламень камина вперились глаза пепельнымъ бархатомъ.

Груда каменьевъ пылала тамъ трескучимъ золотымъ червонцемъ, будто воздыхающій леопардъ.

Леопардъ вздыхалъ о томъ же, все о томъ же: и сонное тѣло полковника съ похороненной душой сѣрыми пятнами валилось въ небытіе.

Изъ-подъ окна знакомые дома блѣдными, блѣдными грудами будто валились въ синій темень.

Желтокрасный закатъ, какъ потухающій гепардъ, испещренный черными кольцами, уплывалъ за домами.

Струйка подъ окномъ оборвалась. Взмолилась. Уснула.

Смутно донеслось воронье карканье среди пустого безмолвія.

Еще. И еще.

И въ окнѣ прохлопала птица черными крыльями.

Одинокія пустыя пасти приняли тамъ повѣшеннаго, и ему некуда было падать.

Изъ-подъ ногъ алмазы созвѣздія билліонами миль и дней промерцали тамъ въ старинѣ.

И безстрашно повисшій узналъ премірное, откуда все тотъ же голосъ, какъ и встарь, запѣвалъ:

«Ноо-чии без-соо-ныя... Ноо-чии бее-зуум-ныы-яя»...

«Ноо-чии паaа...

«слѣ-днимъ аа-гнеемъ аа...

«заа-рее-нныы-яя...

Изъ-подъ ногъ колесики креселъ, взоръ уколовшія звѣздами, видѣлъ вскочившій полковникъ.

Желтое кружево огней потащилось по потолку оскаленной комнаты хохотомъ аккордовъ, загремѣвшихъ надъ потолкомъ:

«Ноо-чии паа...

«слѣ-дниимъ аа-гнеемъ

«аа...»

Леопардъ проползъ на горизонтѣ. Положилъ тяжелую голову на красныя лапы.

Улегся.

Странно донеслось его жалобное мяуканье изъ разорванныхъ тучъ.

Еще. И еще.

Это стенялъ вѣтеръ.

Обрюзглый пѣтухъ ввалился къ полковнику, запѣвая все о томъ же, о томъ же, зажженный красными пятнами углей.

Руки свои заломилъ, уронилъ въ нихъ каштановый гребень: «Какъ перенести мнѣ измѣну.»

Изъ-подъ сѣдинъ устало полковникъ на него посмотрѣлъ съ бархатно мягкимъ хохотомъ...

«Тра-ра-ра-та... Старое...

«Все то же.

«Дуэль, такъ дуэль. Всѣ мы шутимъ, и всѣ смѣемся: смѣемся и проваливаемся.

«Старое... Все то же...

Куча золы остывала въ каминѣ, какъ звѣриный, пепельный трупъ.

Струйка подъ окномъ оборвалась. Взмолилась. Уснула.

Еще. И еще.

Снявъ намокшій картузъ въ необъятныхъ мѣхахъ шинели закружилось на улицѣ тѣло все такъ же, все такъ же.

Все шептало выцвѣтшимъ лицомъ, шептало ликомъ: «Все придетъ».

«Самочувствіе вернется».

Выбѣгало изъ магазиновъ. Забѣжало въ магазинъ.

У прилавка аптеки шептало неизмѣнно, говорило о томъ же, и дряблый аптекарь въ протянутой рукѣ подавалъ бутылочку брома: «Все придетъ. Самочувствіе ваше вернется. Бромъ—неизмѣнное средство, вѣрное.»

Но безсильное тѣло внимало ему чуждо, и изможденный ликъ валился въ мѣха шинели.

Такъ кружила шинель по улицамъ, возвращаясь къ себѣ въ торопливомъ бѣгѣ.

Но она не вернулась.

На лужицѣ бумажная лодочка пронеслась.

Воду зачерпнула. Размякла.

Странно остановилась надъ мокрой бумагой старая шинель.

Опять. Вотъ опять.

И дворникъ съ метлой проворчалъ: «Посторонитесь, ваше благородіе».

Кто-то кому-то показалъ: «Смотрите, смотрите—

«вотъ опять все тотъ же военный: какой онъ старинный, мертвый.»

И шинель бросилась прочь.

Заборъ наклонился. Вѣтка протянулась.
Талый шлепокъ уронила на картузъ.
Опять. Вотъ опять.
Лицо, проваленное въ мѣхъ, вывалилось изъ мѣха.

Проходили люди и не понимали, что просила изъ далей погибшая душа.

Вотъ. Вотъ опять.

«Ахъ, нѣтъ у меня ста»...

Громыхала пролетка: «Рое-рое-рое... ста-рое... все то же...»

Просилось въ вѣтрѣ: «Нѣтъ у меня стараго тѣ-ла-
«заа-рее-нныя... оо-сее-ни поо-зднѣи цвѣ-тыы»—
лилось изъ дома рыдающее пѣніе.

Изъ-подъ мѣха, свалившагося на лакея, вылѣзла мертвая, сѣрая вѣшалка и прошла въ ресторанъ.

Шубу, испещренную бархатнымъ мѣхомъ, лакей повѣсилъ, точно трупную шкуру.

Тѣло полковника склонилось надъ тѣломъ цыпленка оскаленнымъ ртомъ, окаймленнымъ замшевой кожей, какъ большой пепельный звѣрь.

Изподлобья шушукала ресторанная посѣтительница, уставясь на Свѣтозарова бархатомъ глазъ... «Полковникъ, еще недавно бодрый, тамъ онъ сидитъ мертвой развалиной.»

Изъ-подъ сребробѣлаго вѣнца сѣдинъ лицевое трупное пятно жалобно уставилось на нее жующимъ ртомъ.

Прелестію своею.

И надъ Свѣтловой повисли дней кружевныя метели.

Надъ ней повисли метели.

Серебряной своей туфелькой лукаво ихъ попирала она, какъ воздухи, когда, восходя, хохотала прелестью до упада она выше, все выше—

прошла:

за нею, надъ ней, вкругъ нея снѣжилась муаромъ ея мантія бѣлая, въ небо засвиставшими, въ небо взметенными пурговыми крыльями.

Заметенная прошлымъ, вотъ она вкрадчиво, вьюжно опрокинулась назадъ изъ оболока своихъ дней,

вотъ заглянула въ лазури глубокой истомы, заглядѣлась въ эти колодцы и головкой своей въ сверкающей шапкѣ въ нихъ отразилась, и грудкой,

стрекочущей ожерельемъ слезъ лебединыхъ, застывшихъ, холодныхъ,

и ручкой

со жгучей, какъ мечъ жалящей ледышкой — любовнымъ жезломъ

Ахъ, да нѣтъ:

то не была на ней снѣжная шапка—

то атласный клобукъ воздушной матери-игуменьи съ вуалью дней, свѣянной въ былое;

и совсѣмъ то не былъ любовный жезлъ, а ледяной властный посохъ, чтобы не оступилась она стремнину,

и не слезы,

а ледяныя четки, стрекотавшія въ прошлое холоднымъ, холоднымъ градомъ.

Какъ изъ оболока дней,
такъ изъ оболока метелей она выплывала серебряной туфелькой, какъ мѣсяцемъ изъ тучки, какъ дитей изъ колыбели,
какъ душой изъ времени.
Такъ шелка ея милліонами мгновеній снѣжились,
слетали;
Изъ нихъ на свободу просилась душа ея, дѣточка.

«Пора ей устать. Пора вернуть съ высоты.
«Быстро тѣнь подъ ногами ея скользитъ, когда черной игуменьей за бѣдной моей женой тѣнь пролетаетъ.
«Пора открыть ей глаза, что она стоитъ уже на чертѣ, переходитъ границу, непокорная времени».
— «Увезите ее заграницу.»
Такъ говорили полковникъ и мужъ.

Закипѣвшія дымомъ шелка ея, парчи, пелены, снѣга и снѣжные водовороты дымили на нихъ кружевами, духами, когда выходила она къ нимъ изъ комнатъ.
На бѣлый жилетъ положившій баки лакей, словно чопорный манекенъ, на подносѣ ей подалъ письмо,
И въ пургѣ шелковъ взошелъ на щеки румянецъ; и то любезно отвѣчала мужчинамъ, то любовныя строки читала какъ бы небрежно,—

но вверхъ, вверхъ—
къ мѣсячной стремнинѣ, къ ея сіявшей, какъ мѣсяцъ, глу-

бинѣ изъ-подъ атласовъ, взвѣянныхъ надъ ней клокочущихъ снѣгомъ дней—

вверхъ она уплывала.

Изъ-подъ, какъ кружево снѣга на пальцахъ, приподнятыхъ къ личику ліонскихъ кружевъ въ темь глубокой низины взоръ она метнула—

на дозиравшаго полковника: онъ сидѣлъ съ закачавшимся, какъ маятникъ, эксельбантомъ, отбивающимъ время.

Точно время дозоромъ уставилось на нея—не время: ликъ, увѣнчанный лавромъ убойной старости. А она, непокорная старому времени, быстро сунула записку въ карманъ.

И побѣдило время:

и записка незамѣтно скатилась подъ столъ; слюнявая морда санъ-бернара уставилась на полковника,

и вотъ онъ на записку указывалъ псу;

и песъ, шаркая лапами, пастью подалъ записку.

Украдкой старикъ прочиталъ, сказалъ:

«Эге... Опять тутъ назначено свиданіе.»

Горько затянулся сигарой:

дымовой гадъ, влекущій воздушныя кольца, поплылъ изъ его рта и охватилъ ее кольцами.

Но она прошла, шелковымъ колѣномъ гада изорвала.

Проходя къ себѣ, она думала о томъ, что онъ, онъ, звавшій ея любовью въ серебрянный храмъ, іерей,

совлечетъ съ нея пурпуровыя ризы;

будто той же придетъ пургою и тѣмъ же мѣсяцемъ встанетъ,

и ея хрустальныя руки—до ужаса прозрачныя—распахнули ему окошко, когда вьюга тамъ клокотала, когда она прелестью

ея обвивала и приникла кусающими, гдѣ-то ужъ процѣлованными губами, къ ея губамъ.

Такъ она, бѣлая игуменья, стояла съ ясной, какъ мѣсяцъ, туфелькой, занесенной на подоконникъ; ея ледяныя четки, протрезвонивъ, охрусталили стекла; ризы, осребренныя ей въ грудь хладомъ плеснувшей пургой, воздушно мелись за плечами.

Нѣтъ, не стояла она:

нѣтъ, она бѣжала по протянутымъ вверхъ кисеямъ, и оттуда, гдѣ всегда пусто, чиркнулъ серпъ ей по туфелькѣ — проалмазилъ ей ножку.

Вотъ и острымъ концомъ рѣзанулъ ей ладонь,

когда его,

свою грустную дѣточку,

въ пустой киновіи она схватила и ожглась, но къ груди своей прижала—

прижала мѣсяцъ,

какъ закипѣвшая мать, какъ въ слезинкахъ изошедшая сестра и какъ безстыдная любовница.

Огневой бокалъ.

Розовоустая женщина съ дрогнувшими ноздрями зашелестѣла, потупясь, подъ сквозной вуалью, запятанной черными мушками: и шляпа ея, свѣянная на шею облачкомъ перьевъ, и черный, муаровый шлейфъ, чуть приподнятый перчаткой; и серебряныя туфельки ногъ, тающихъ въ бушующемъ кремѣ атласа и кружевъ,—все будило въ немъ смутную, неутоленную жажду.

Онъ поднесъ руку ея къ губамъ, стыдливо ея желающій, тихій.

Она положила шляпу у зеркала, оправляя прическу.

Онъ спросилъ ея взоромъ, а она пылко отвѣтила, опустила глаза и губы ея—раздавленный персикъ — нетерпѣливо дрог-

нули подъ щеками, очерненными рѣсницами; такъ она стояла, знойно дыша и какъ бы не замѣчая его.

Блѣдный, схватилъ ее, чуть прищуренный, руками точно тигриными лапами терзалъ кружевной, черный муаръ на упругой груди, устами искалъ ея устъ, впился въ нихъ, и изъ-подъ своихъ жаркихъ устъ, полуоткрытыхъ въ его раздѣленныя уста, обожгла быстро, безстыдно, сладостно.

«Милая, дай счастье... дай.»

И она дала снять съ себя лифъ.

Руки ея, оголенныя, теплыя закрывали ей грудь.

Нѣжныя чаши мягко колыхались надъ чернымъ, узкимъ корсетомъ.

Когда охватилъ ея станъ, спадающія юбки уже перестали шуршать, и она осталась въ сквозномъ, красномъ шелку, точно сотканная изъ воздуха.

Мягко таялъ въ рукахъ ея жаркій станъ.

Такъ она замирала, одной рукой закрывая сквозящія чресла, а въ другую, сжавшую корсетъ, уронила головку, всю осыпанную солнечными кудрями, ниспадавшими ей на круглыя, четко обрисованныя бедра: «Тѣло мое—упругое, гибкое.»

«Ночь моя—жарка и бархатна.»

Изогнулась, свистнула между рукъ его рубашка, и онъ сжималъ пустоту.

Ея съ нимъ не было.

Тамъ изъ постели лилейною рукой манила, призывно раскидалась на бѣлой простынѣ краснымъ цвѣткомъ.

Когда онъ сталъ пьянымъ и подходилъ тихо къ постели, она закрылась малиновымъ одѣяломъ, испуганно слѣдила за движеніями его пытливо, жестоко.

Когда онъ сорвалъ съ нея одѣяло, она вскочила на постели, поднимая къ груди колѣни свои, но онъ опрокинулъ ее, повалилъ въ подушки, и она закрыла лицо руками.

Когда легъ рядомъ съ ней, обхватилъ, она вырвалась, царапала его, отвернулась со злобой, оттолкнула ногой, а другую ногу спустила на полъ и стояла, нагая, съ закинутой головой, закрывая лицо руками, плача и не желая испить любви.

Дверь отворилась. Вошелъ ея мужъ, пожирая женщину жадными взорами.

Странно раздался его смѣшокъ среди озареннаго безмолвія.

Еще. И еще.

И онъ вышелъ.

Рыжеватыя пряди волосъ покрывали ей спину, ниспадали на грудь подъ свѣянную съ плеча рубашку, и она, согнувшись, надѣвала на бѣлую ногу атласный чулокъ.

И пунцовыя уста, и гнѣвныя очи засверкали на милаго, когда тряхнула головой, отмахиваясь отъ мыслей: «Я позвала васъ безстыдно. Вы безстыдно отвѣтили на зовъ. Нѣтъ, вы не тотъ, кто мнѣ снился.

«Я—безстыдная. Уйду туда. Тамъ все вернется.»

Скоро она надменно стояла въ черномъ платьѣ, повязала шляпу, спустила вуаль, прошелестѣла муаромъ, уходя.

Пѣтухъ стоялъ одиноко. Онъ зналъ, что теперь не минуешь дуэли.

Странно мерцалъ его смѣшокъ среди тающихъ улицъ.

Еще. И еще.

Кругомъ громыхали пролетки: «Рое-рое-рое-...»

«Старое: все то же».

Дѣточка.

Она ниспала съ небесъ пустыхъ, но атласныхъ.

Лукаво серебряная ея туфелька застряла тамъ въ снѣжкѣ, какъ мѣсяцъ застрявает въ облакѣ,—все тою же прелестной стариной она ниспала.

Подъ ней былъ хаосъ, вкругъ нея онъ струился, и она чьей то отброшенная ножкой скользила по свиставшимъ волнамъ, зыблемымъ легко контуромъ, рисовала тѣневой контуръ тѣневой летучей игуменьи въ тѣневомъ клобукѣ, въ воздушно вздутомъ, словно воздухъ черной ночи, виссонѣ и съ вѣтрянымъ токомъ, какъ пастырскій посохъ, осторрѣжущимъ изъ холодныхъ ея рукъ.

Мѣсяцъ, серпъ,—
алмазная туфелька.
Ахъ,
небесной жены больше нѣтъ—
нѣтъ: безъ жены пройдетъ много лѣтъ!..
Ахъ,
безъ весны умретъ бѣлый свѣтъ.
Ахъ, мѣсяцъ, серпъ—
оледенѣлый: ахъ, алмазная туфелька!

Въ блескѣ игуменья—Т ѣ н ь безысходно подъ облакомъ запрокинулась любоваться пролетомъ пустой истомы—и не облакъ то былъ: игуменья—С н ѣ г ъ въ просверкавшемъ клобукѣ, бѣлой пылью — вуалью—внизъ пылящимъ, стрекоча, будто градомъ, алмазными дерзкими четками, яря блескъ, какъ сталь, леднаго

посоха, крутила снѣжившій муаръ засвиставшимъ въ небо крыломъ.

Та отемняла просторъ—эту блескъ рѣзалъ, та ликовала,—и рыдала эта: снѣжились, тѣнились, летучились обѣ свистучей лаской—бѣлица и черница, святая и грѣшная, въ старой, все той же обители Вѣчности.

Бѣдный житель земли: гдѣ найдешь ты святую обитель?
Въ даль иди,
золотую
ей, ей внемли.

Но загадочный прохожій положилъ руку ей на плечо: «Чего ты плачешь? Здѣсь холодна могила.»

Она очнулась отъ мыслей на рѣкѣ у ледяной проруби.

Струйки плескались прозрачнымъ, кисейнымъ паромъ.

Здѣсь она хотѣла броситься въ воду; но здѣсь она задумалась: «Неужели все погибло?»

Струйный старикъ сталъ обнимать ее, и бѣлое его лицо клонилось любовно: «Вспомни, родная, вспомни!»

Поднесла руку къ глазамъ и увидѣла, что то старый, ее покинувшій другъ.

Замкнулся кругъ.
Милый другъ, спаси отъ мукъ совѣсти,—
отъ длинной стези могилы.
И внимала старинной повѣсти. И закрыла ликъ.
Въ этотъ мигъ возникъ другъ чудесный и старый.
Сказалъ:
«Просинсь»—
указалъ на высь, на небесный лучъ,—

на его золотые пожары.

Кудри его тряхнулись подъ вѣтеркомъ и она, плача, протянула ему руку.

Онъ говорилъ: «Еще немного: все, что ушло, вернется.»

«Вѣдь могила пуста.»

«Но бѣгите изъ дому, бѣгите, куда и я когда-то бѣжалъ—въ лѣса, къ соснамъ.»

Повелъ вдоль рѣки. Говорилъ о прошломъ,
что оно вернется.

Есть, было, будетъ.
Что было, то будетъ, что будетъ, то есть—всегда, всегда.
Вотъ міру вѣсть.
Такъ—да.

Она вверхъ по сквознымъ кисеямъ ускользала довѣрчивымъ взоромъ, и оттуда, гдѣ все пусто, чиркнулъ изъ облака серпъ—заалмазилъ серьгу.

Блескомъ душу ей полоснулъ онъ безстыдно, растерянной дѣточкѣ, и она—дѣточка—довѣрчиво предавала отнынѣ пустой киновіи все, все: себя, свое тѣло и душу, и грусть, какъ изошедшая въ слезинкахъ сестра, какъ желанная жена и какъ любовный младенецъ.

Мѣсяцъ, серпъ—
алмазная туфелька—
съ неба упала.
По снѣгу она ступала алмазной туфелькой.

Капели.

Ты, снѣжокъ,—рой пушинокъ: лучъ упалъ — сталъ подмачивать.

Слезами окропилъ плиты.

Осіянная пыль—желтоносная цвѣтень — брызнула изъ жолоба и опылила прохожихъ.

Въ окнахъ сквозили снѣга—одуванчики, водой смоченные весеннимъ денькомъ.

Искролетная струйка упала на ледъ и плыла въ мерзлой глади холоднымъ, лазурнымъ пятномъ.

Слышался рокотъ пролетки, который давно начался и не могъ кончиться: «Тра-ра-ра: это я громыхаю рокотомъ, тароватымъ, старымъ, весеннимъ громкóмъ».

И снѣга текли. И слякоть росла.

Надвигалось весеннее, улыбчивое.

Просилось: «Пора и мнѣ въ этотъ старый міръ.»

«Пора согнать снѣгъ, брызнуть искрами струекъ.»

«Провлачить на лужахъ чешую золотую.»

«Наша жизнь—золотая парча, пролетающая на струяхъ—золотые, парчевые отблески.»

«Пора—

потому что, если блескъ метлами не сметутъ, весны не будетъ.

«Потому что кинешься въ блескъ, а разбрызгаешь лужу.»

Въ сверкающихъ струнахъ солнца засверкали сосульки истекающими лилеями.

И золотыя капли, развѣсивъ сѣти, звенѣли солнечными струнами.

Синяя струйка словно роптала у ногъ, то темнѣя, то золотѣя.

На ней взбивались бѣлопѣнные гребни.

Точно на струйку мальчишки пустили лебедку—бѣлый, бумажный корабликъ,—и вотъ онъ прыгалъ, черпая воду.

Хрустальныя льдинки, точно стрекозиныя крылья, сверкали хрусталемъ.

Въ свѣтоловныхъ сѣтяхъ воды билось солнце, точно пойманный уловъ рыбы.

Смѣялось въ колосьяхъ мокраго блеска.

Въ стеклахъ росныхъ, во струяхъ звенящихъ,

цвѣтогонныхъ, плясали серпы золотые и изъ серповъ сотка́нное дрожало начертаніе весенняго жениха.

Ты, лужица — зеркальце невѣсты: солнышко глянетъ — ты посвѣркиваешь.

Сядетъ оно: и покроешься ледянымъ скатнымъ жемчугомъ.

И янтарный ледокъ подъ ногою прохожаго разлетится хрящими рубинами.

Опять капели.

Взволнованный дуэлянтъ расланялся.

Вѣтеръ донесъ его визгливый голосъ и подъ приподнятой шляпой колыхнулся гребень волосъ.

Одутловатое лицо упорно хмурилось о послѣдствіи.

Все казалось жалкимъ и мокрымъ—весеннимъ.

На Адама Петровича уставилось дуло револьвера. Мгновенія растянулись.

Вся жизнь пронеслась передъ нимъ.

Окрестность казалась вѣчно знакомой, стало падать что-то ласковое, бархатное, и удивлялся, что лежитъ въ снѣгу: кто-то куда-то позвалъ его, какъ и въ дѣтскіе годы.

Издали раздался пѣтушій, взволнованный голосъ, въ солнечномъ воздухѣ пахнуло роднымъ и погасило сознаніе.

Засіяло тусклое солнце, и снѣга отливали серебромъ и оловомъ.

Точно все было выстлано оловянной бумагой.

Свѣтловъ крикнулъ: «Полковникъ, полковникъ: наша жизнь—пролетающій призракъ.»

Но полковникъ, поливая изъ кружки залитое кровью лицо сраженнаго, сухо замѣтилъ: «Не знаю я и не хочу знать!»

Онъ поперхнулся и лицо его изморщинилось, не то отъ смѣха, не то отъ кашля, не то отъ рыданія.

Съ крышъ капалъ веселый дождикъ.

«Ца-ца»—считали талую грязь; «тень-тень»—ломы опускались на мостовую и разлетались осколки. «Кришш»—срѣзали снѣгъ съ мокраго асфальта.

«Тахъ-тахъ»—весело прыгалъ красный шаръ, привязанный къ синей шубкѣ младенца.

Въ каждомъ стеклѣ фонаря безостановочно, беззвучно лопались ослѣпительные шары и разлетались стрѣлы.

Все таяло, все неслось.

Золотая, солнечная чешуя, павшая на грязь, ползла вмѣстѣ съ прохожими.

И раздавалось въ грохотѣ пролетокъ: «Ца-ца- рое-тенъ-рое-рое-рое-кршш...»

«Тюр-люр-лю»—это весенняя вода завивалась у ногъ пѣнными пузырями, вѣчно лопающимися бусами, терзаемыми водой.

Колдунъ.

Тѣломъ Адамъ Петровичъ безсильно поникалъ, головой кровяной опадалъ, несомый людьми, и алѣя пятнами сквозь повязку, темными пятнами.

Его уложили.

«Подушку. Еще подушку».

И онъ тонулъ въ мелкомъ жарѣ подушекъ.

Ослѣпленныя, злыя стѣны сжимали надъ нимъ свои каменныя объятія, и желто-дымное пламя свѣчи въ лучевомъ ореолѣ, точно голова жгучаго одуванчика, плясала нѣмымъ издѣвательствомъ:

«Ты на свободѣ... Нѣтъ: ты въ тюрьмѣ».

Огненно-желтое лицо—все въ жару—поднималось съ подушекъ, и околдованный темницей, онъ стенялъ, когда изъ дверной, черной ямы колдунъ наплывалъ шаркающими туфлями.

Мертвое сѣрое лицо выплывало изъ пасти на желтую свѣчу, и бархатный красный халатъ, испещренный темными кольцами, зашушукалъ на колдуньѣ, зашушукалъ о томъ же... нѣтъ, не о томъ, потому что это былъ полковникъ.

На упавшей бархатной ткани въ желтый пламень камина вперилось мстительное лицо.

Изъ-подъ желѣзной рѣшетки камина блескомъ сіяющій звѣрь полагалъ морду на мягкую, когтями цапающую лапу, ярящей, золотой грудой.

Въ сіяющій трескъ уткнулся щипцами полковникъ, и бѣшеный звѣрь изгрызалъ ихъ, каля, трескучимъ клыкомъ.

Полковникъ сказалъ, что тьма заливаетъ больного и что больной, убѣгая къ любимой, повалился въ смертныя тѣни;

что и онъ вѣрный ему другъ, старый; и что вотъ пришелъ другъ къ больному мѣнять компрессы.

Въ яркомъ бреду больной раскидалъ надъ подушкой свои восковыя руки; начиналъ понимать, что коварный колдунъ сѣрыми оковалъ стѣнами и ее, его душу, и что она, душа, плѣненная колдуномъ, теперь томилась надъ его головой въ чародѣйской западнѣ.

«Бурной, какъ вихорь, моей рукой я самъ разобью стѣны и выведу ее изъ темницы»—стеналъ онъ, когда худой, тонкій, бѣлый, какъ умирающій лебедь, машущій крыльями, руками онъ взмахнулъ, и его порывъ изъ него изошелъ: бѣлоснѣжная, нѣжная лебедь плескалась тамъ, проницая стѣны охлажденными перьями.

Бархатно-мягкій халатъ, испещренный сѣрыми кольцами, поднималъ свою желтую руку.

Дымовой блѣдно-бисерный лебедь, просквозившій плеснувшимъ перомъ, нападая, качался надъ старымъ.

Желтокрасный рукавъ, изрывая лебедя, проводилъ папиросой огоньковый, молнійный кругъ.

Бисеринки дыма дробились тамъ, лопаясь въ темень, какъ пѣна, истекающая водой.

Изъ-подъ упавшей въ бархатѣ пламени свинцовой десницы въ чело больного струились недобрые токи.

«Изъ-подъ мокраго компресса, Адамъ Петровичъ, течетъ ужъ вода, а я охлажу васъ ледкомъ».

Она, тоскуя, изнывала надъ потолкомъ въ колдунской власти у времени, и дѣтскій голосъ ея просилъ о пощадѣ, когда алый колдунъ заводилъ временный кругъ, поставленный на столѣ.

Больной стенялъ: «Довольно времени, и такъ она во власти у него тамъ поетъ, она томится».

А въ чертогахъ колдуна томилась плѣнница, изнывала въ разлукѣ: «Я жаа-аа-

«ждуу...

«Я страа-аа-

«ждуу...

«Дуу-уу-

«шаа ии-стаа-ми-лаась въ разлуу-уу-кѣѣ»...

«Я жаа-аа-жду, я страа-

«ааааа-».

«У васъ надъ головой поетъ консерваторка», сказалъ полковникъ, «и я просто пошлю ее унять. Это глупое, глупое пѣніе, столь неполезное вамъ теперь».

Изъ-за желѣзнаго камина въ черную пасть двери, шушукая, нырнулъ колдунъ туфлями и бархатомъ.

Изъ-за вставшихъ чарами стѣнъ надъ головой больного задохнулась она.

Изъ-за блѣдныхъ простынь желтой, желтой рукой онъ схватилъ оставленный свѣточъ.

Красныя, красныя жала, точно ливень, огней срывался теперь съ летающаго меча.

Черную пасть двери онъ окропилъ пламенами жгучаго лезвія, колдуну преграждая доступъ.

И упавшій на полковника въ темени мечъ исторгалъ изъ его глазъ рои искръ червонныхъ.

Блѣднымъ, вощенымъ челомъ, налетая на спинку, проливалъ изъ глазъ въ темень искры.

Плѣнникъ бѣшеной чародѣя силой умерщвлялъ, но тотъ снова возникъ и сурово вырвалъ у плѣнника свѣтовой мечъ, желтымъ, бархатнымъ лезвіемъ его развѣивая надъ нимъ.

Онъ другой огневою своею рукою изъ камина, изъ пасти у звѣря, взялъ каленые щипцы.

И вскричалъ больной, и всталъ, и рукой билъ колдуна, и швырнулъ его въ пасть звѣрю, и золотой звѣрь выходилъ изъ желѣзной рѣшетки на колдуна и его ѣлъ; красной своей лапой обнималъ; и проклятый колдунъ, исходя клубами паленаго смрада, простиралъ свои желтыя руки изъ огневыхъ, бархатно мягкихъ объятій.

Прибѣжали люди. Кричали.

Еще. И еще.

И кричалъ съ ними больной въ бреду надъ паленымъ старикомъ:

«Я побѣдилъ время».

А тамъ, надъ потолкомъ—душа звала, она томилась:

«Яя жаа-аа—
«ждуу..
«Я страа-аа—
«ждуу—.
«Дуу-уу—
«шаа ии-стаа-ми-лаась въ разлу-уу-кѣѣ...
«Я жа-аа-ждуу, я
стрраа—
«аааа—....»
Она звала, она томилась.

Синева Господня.

Больной очнулся, голова надъ нимъ упала, шепнула и пропала.

«Вы были больны, слегли, всякій вздоръ наплели и старика обожгли.

«Не хорошо жечь знакомыхъ».

Кто-то добавилъ: «И въ такіе дни, Господи. Помеломъ бы васъ, помеломъ—

«помеломосподи-Го-спо-ди поо-мии-лууй».

Кадило взлетѣло, звякнуло цѣпью, фыхнуло дымомъ и пропало.

Понялъ, что его хоронятъ.

Пухлое тѣло въ желтыхъ пузыряхъ взвалило на плечи досчатый гробъ и понесло туда, гдѣ никто не бываетъ.

Такъ оно несло, но подъ гробомъ шепталось: «Такъ ты и жегъ меня, но ея не настигъ».

«Мы схоронимъ тебя въ пустой старинѣ, гдѣ Судія не увидитъ».

Но мертвецъ сказалъ: «Несите меня къ Судіѣ: я хотѣлъ только правды: пусть же правда суда исполнится надо мной».

И тѣло взмолилось: «Я тѣло больное, страдающее одышкой и все въ пузыряхъ».

Тогда всталъ мертвецъ, взвалилъ свой гробъ; одинъ пошелъ своей горькой дорогой.

Повернулся—старина на облачкѣ злобно кусала ногти, а ея длинный хвостъ крутился въ пространствахъ.

Бѣлый куполъ приплылъ издалека. Оттуда вышелъ старецъ.

Протянулъ руки и пошелъ къ нему богомольно.

И гряда въ синевѣ воскуренныхъ тучъ росла, все росла.

Искристый нимбъ чудотворнаго старика, его нога, поставленная на холмъ снѣжный, молнійный трезубецъ въ рукахъ и низинѣ туманомъ грозящая десница—давно онъ носилъ въ душѣ своей образъ угодника, скораго помощника, тайно пришедшаго къ нему.

Все подъ угодникомъ громыхало. Облако въ бездны тѣнь бросало.

И изъ нимба рекъ старикъ струевой бородой, трезубцемъ указующій въ бездны на то же, все на то же:

«Гадъ подъ облакомъ ползетъ. Хвостъ его, изъ времени сотканный, изгибается. Надвигается биліонами мгновеній. Просится: пора и мнѣ на небо.

«Пора оковать высоту поднебесную змѣинымъ кольцомъ возврата».

«Гадъ оковалъ землю. Тамъ жена отъ него спасается: плѣняется силой змѣиной».

«Хвостъ его вкругъ нея обвивается, душитъ».

«И жена просится: я на землѣ, но я вѣрна небу».

«Пора, сынъ, напоить ее небомъ, унести въ солнечную обитель».

«Сойти къ ней странникомъ»

«Не прежде гадъ отойдетъ отъ жены, потому что она еще покорна времени».

Онъ посмотрѣлъ подъ куполъ облака. Съ земли поднимался дымокъ.

Чешуйчатыя кольца дракона ползли въ пространство.

Взмывался на небо безшумно, все такъ же.

Молніевый трезубецъ, положенный старцемъ, блисталъ на краю купола. Старецъ уходилъ въ облачную пещеру; его нимбъ оттуда блисталъ, громокъ въ пещерѣ рокоталъ тайнымъ взываніемъ.

Облака закрыли твердь. Твердь голубѣла въ просвѣтахъ.

Часъ близился.

Закипѣвшія дымомъ бѣлогромныя облака, словно озеро кольцами, охвативъ бирюзовый пролетъ, то каменѣли, то расползались песчанымъ дымомъ.

Разорванный гнѣвомъ, сталъ на бѣломъ верху, глядя въ жуть воздушной стремнины, то возлетая съ пухнущимъ облакомъ, то опадая.

И изъ необорной жизни плылъ гадъ, волнуясь блескомъ чешуй.

Точно щучья морда уставилась на него, вѣнчанная острой щетиной перьевъ,—и вотъ она струю краснаго смрада пустила въ бирюзу.

Точно жаломъ огня опалила воздухъ, потускнѣвшій отъ ко-

поти,—и вотъ онъ подумалъ, что и тамъ, внизу, онъ боролся съ гадомъ.

Время—гадъ, кольца влекущій въ поднебесьи—наплывало въ голубое безвременье.

Онъ стоялъ, вознесенный надъ временемъ, испивая лазури.

А оно влеклось въ пространствѣ то пустомъ, то облаками загороженномъ.

Оно переползало вверхъ по пространству, словно водяной змѣй, вылѣзающій изъ голубого колодца, то ныряя подъ облакомъ, то выплывая надъ нимъ.

Надъ стариной повисли бѣлогромныя стѣны, и вотъ оно взоромъ ихъ прободало.

Точно въ воздушныхъ гранитахъ открылся колодезь—и вотъ изъ синяго колодца къ облачному берегу выплывало змѣевое время—гадъ, кольца влекущій.

Солнце, облеченное блескомъ, тихо изъ-за оболока опрокинулось надъ колодцемъ, и лучи его,—трезубцы—тремя жалами прожалили они время и выплывающаго изъ времени гада.

То не солнце—іерей, облеченный въ силу, обтекающій блескомъ, яро надъ гадомъ опрокинулъ молніевый трезубецъ.

И его трезубецъ прожалилъ старину: точно замерла старина, остеклѣвъ пустой сухой перепонкой прожженной, какъ пустой фонарь, просквозившій оболокомъ и солнечной силой, упавшей съ надоблачной вышины.

Когда трезубецъ на гада ниспалъ, время закорчилось змѣевыми кольцами.

Когда пролилось оно на землю билліонами мгновеній, старики пробѣжали въ облачномъ ходѣ, издавая громы и гласы.

Когда въ самую глубину тонулъ мертвенѣющій гадъ и блескъ оттуда чешуйчатый излучалъ, какъ перепончатая жужелица,

голосъ тогда раздался съ самой великой, облачной башни:

«Синева Господня побѣдила время».

Тогда въ разрывы облакъ садилось золотое тѣло солнца.

Никто не могъ сказать, что это не куполъ обители среди снѣговыхъ холмовъ и полей.

Бѣлая облачная дорога тянулась съ земли.

Она казалась снѣжной тропой.

Голубые разливы пространствъ, какъ разливы весеннихъ водъ, замывали ее.

Здѣсь залегла издыхающая гадина.

И тогда змѣеборцу на встрѣчу съ земли потекли, будто свѣтомъ залитыя пчелы, и ярые свѣточи несли; къ нимъ сверкалъ побѣдительно сверкающій іерей.

Лучезарная жена, ея лазурь, къ іерею протянутыя ея длани, когда изъ старинной темницы восходила, затерзали издыхавшую гадину.

Безсильная гадина, словно жужелица, трепыхалась сухой перепонкой.

Но іерей перевелъ лучъ, и мракъ потопилъ старину.

И въ блѣдной, блѣдной бирюзѣ онъ стоялъ пламеноснымъ ликомъ.

И въ блѣдной, блѣдной бирюзѣ текли на него жены изъ солнечной обители.

И въ блѣдной, блѣдной бирюзѣ стояло старое солнце, точно окованный въ золото воинъ, отчетливо вонзенное въ снѣга, облака.

Парижъ. 1907 года.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГРОБНАЯ ЛАЗУРЬ

Бѣлолилейный цвѣтокъ.

Вьюга выдувала блѣдные вихри.

Вверхъ метнула снѣга, и бѣлыя лиліи закачались надъ полями.

Все, гудя, проносилось, все неслось прочь отсюда.

Вьюга распылилась дымомъ блѣдныхъ снѣговъ—зацвѣла горстью спѣлыхъ цвѣтовъ бѣлолилейныхъ—подвѣнечной фатой кружевной изъ звѣздъ, звѣздъ.

Ленты серебра пѣвучія налетали, пролетали—обволакивали.

Сталкивались, дробясь снѣгомъ.

Сквозной омофоръ снѣговой свистомъ, блескомъ, ароматомъ предвесеннимъ разметнулся надъ полями.

Примелькался снѣгъ, танцующій блескомъ, просквозившій синимъ, будто кружево.

Игуменья уронила головку. Заиграли ланиты.

Серебряный бархатецъ сталъ ей навстрѣчу похрустывать; изъ-подъ чашечки рѣсницъ въ прохожую монашку метнула синіе, синіе цвѣтики.

Чуть приподнятымъ ликомъ то припадала монашка къ ея плату, то слагала варешки на груди: «Мать-игуменья, ты оцвѣтилась. Помываешь въ кельѣ вѣткой сирени.

«Кто ояснилъ намъ киновію?»

Но игуменья указала ей на мятель: «Вотъ онѣ, вѣтки сирени-то.»...

Но она безвластно отходила: блестки чернаго шелка скромнымъ метнулись вздохомъ, какъ томно вздохнувшій шорохъ.

Уже вдаль стекалъ черный ручеекъ: съ ведрами на плечахъ потянулись монашки къ колодцу и разсыпали ногами горсти слѣдовъ—горсти снѣжныхъ цвѣтовъ.

Мятель дышала томнымъ напѣвомъ, какъ и не разъ имъ пѣвала.

Мятель протянула свои бѣлоцвѣтныя кисти и отрясала кисти.

И кисти распадались бѣлыми цвѣтиками полей.

Въ визгѣ, въ визгѣ распыленнымъ сéребромъ поля оцвѣтили, словно душу псалмы.

Въ поляхъ снѣжный братъ блистательной митрой просыпалъ перлы снѣга.

Отрясалъ съ рукавовъ серебрины, святитель полей.

Свистомъ, блескомъ изъ лазури ниспалъ на обитель его хладный образъ.

Игуменья, вся въ бѣлыхъ цвѣтахъ, беззвучно смѣялась: можно было видѣть, какъ тамъ за обителью монашекъ напалъ на юницу.

Брызнулъ юницѣ въ лицо серебрянымъ снѣжкомъ.

Черный станъ ея охватилъ и шепталъ: «Не уходи, родная».

Изогнулась, отпрыгнула, запустила руку въ корзину, и, размахнувшись розой, звонко колючкой царапнула лицо.

Молодая игуменья все видѣла, на все смѣялась: «Влюбляйтесь, ласкайтесь, играйте снѣгомъ и цвѣтомъ».

Монашка тамъ разсыпала въ снѣгъ лепестки на границѣ обители и дряхлаго міра.

Вдали снѣжный братъ уксусъ воспоминаній претворялъ въ радость и пургу.

Бѣлой ризой укрытый, пронесъ свои алмазныя руки, какъ лиліи, въ огнѣ вечерняго свѣта.

Восторгомъ, серебромъ изъ лилій поля кропилъ онъ, любимый, далекій.

И лиліи распадались горстями брилліантовъ. Сотнями брызнувшихъ мошекъ ложились у ногъ.

И мошки гасли.

Это была предвесенняя-мятель.

Въ сумеречной бирюзѣ можно было видѣть черный силуэтъ склоненной игуменьи на чертѣ обители и дряхлаго міра, гдѣ деревянный столбъ возносилъ ласковый образъ Богородицы. Надъ игуменьей трепыхалась свѣтовая, сухая жужелица.

Это былъ столбный фонарь, трезвонившій вѣтромъ: на снѣгѣ бились его лучи, какъ сухія перепонки крылъ, жестокихъ и желтыхъ.

Жучилъ, жучилъ ее прошлымъ фонарь, стрекотавшій вѣтромъ.

Вдали бѣлѣлъ улей. Вдоль стѣны ползали желтыя осы.

Оса за осой проползали по стѣнѣ и уползали въ дырку.

Это вдоль вечерней стѣны шли монашки съ фонариками, обходили обитель и проваливались въ ворота.

Вдругъ изъ-подъ бѣлой стѣны сугроба стая серебряныхъ птицъ плеснула крыльями: съ крикомъ метнулись хохолки заревые, улетали прочь быстро, шумно, ликующе.

Все прометнулось снѣжными птицами—яркими криками.

Прометнулись, уносились, замирали въ даляхъ, крича.

Подняла изъ-подъ чернаго плата розовый, ласковый ликъ свой.

Улыбнулась.

Было холодно и ясно. Ничего не измѣнилось. Блестѣла обитель пузатыми куполами.

Сугробъ, развѣиваясь нитью мухъ, въ небо воздушно росъ. Вкрадчиво бѣлая нить распылялась разрывнымъ вѣеромъ; фонтаномъ шумнымъ въ синемъ воздухѣ была свистомъ, хохотомъ, блескомъ.

Гробная лазурь.

Бѣлогромныя облака, вскипѣвшія гнѣвомъ, словно озеро, кольцами, охватили бирюзовый пролетъ, оттуда глядѣвшій старецъ съ гробовою крышкой въ рукѣ, то выросталъ, какъ пухнущій оболокъ, то ставилъ ногу на снѣжный облачный холмъ:

«Встань: вѣдь могила пуста, потому что синева Господня побѣдила время».

Вскипѣвшіе дымомъ нѣжноструйные снѣга, словно крылья просвиставшихъ атласовъ, охватывали старца, и усопшій, изъ гробовыхъ странствій возвратясь, всталъ и поставилъ ногу на алмазный сугробъ, скрѣпленный морозцемъ.

Онъ сказалъ: «Я ли живъ? Синева надо мной. Развѣ я не преставился въ болѣзняхъ?»

Изъ необорной вышины ниспадалъ дымный змѣй, свивая снѣжныя кольца.

Точно щучья морда, просквозившая синевой и вѣнчанная

серебряным гребнем расчесанных снегов, уставилась на обоих—и вот она струей хладнаго снега покорно легла у их ног.

И старец сказал: «Точно: жало смерти вонзалось в тебя, и вот ты хворал два уж года. Ум помутился твой. Два уже года, как я тебя перевез в тихую мою келью. Я тебя схоронил. Я молил. Бог явил свою милость: пора, вставай же, странник, вновь на ветхую сошедшій землю».

Закипевшій дымом саван, снегом в снег взвеянный, с ним слиянный, вихрился струйкой метелей, и странник узнавал забытаго своего друга.

Закипевшій сквозной белый гад взлетел из-под ног, и горсти искр оцветили блеском снежную его чешую.——

Страннику открылась неоглядная даль. И сквозныя протягивая руки, он сказал: «Солнце закатывается—закатывается».

И оно закатилось.

Там кругом протянулась льдом окованная равнина и надъ ней шла пляска метелей.

Но загадочный другъ положил ему руку на плечо и подвел к могиле; в глубокой яме, четко обрисованной гробовыми досками, не было дна, а гробовой лазурный пролет в подоблачную стремнину.

Когда заглянул в гробовую лазурь, он увидел загробное небо с землею; когда заглянул туда, увидел и время: оно корчилось змеиными кольцами—будто пустыя, просквозившія светом, его чешуйчатыя стекла безжизненно стрекотали умирающей смертью.

Когда заглядѣлся в могилу с тонущим в ней мертвым

гадомъ, надъ нимъ раздался старческій голосъ: «Синева Господня убила время».

Обернулся. Старецъ вздыхалъ: «Мы оба когда-то жили—и вотъ умерли: но умерла смерть».

Мы не чаяли: въ снѣгѣ пѣсни звучали, рыданія—
мы не чаяли.
Нынѣ болѣзни, печали, воздыханія въ снѣгѣ истаяли.

Странникъ понялъ, что льдомъ окованныя равнины—только облака, заливающія твердь. Надъ равниной—тамъ, вдали—багрились змѣиныя кольца дракона, и странникъ, повитый страхомъ, укрылъ свой ликъ въ старческой ризѣ:

«Змѣй еще въ небесахъ—опять онъ вознесся».

Старецъ сказалъ: «Онъ теперь не ужалитъ. Онъ не безперемѣненъ. Онъ таетъ. Надъ нимъ совершился судъ.»

Но это не значитъ, что змѣя не было.

Все оснѣжилось. Оснѣжился и старый другъ: «Снѣжокъ веселый, снѣжокъ ясный—снѣжокъ.»

Рубиновымъ отъ мороза лицомъ щурился на избушку—добрымъ, отъ молитвы лучистымъ лицомъ.

Вошелъ въ избушку.

Мягко затеплилъ лампадный, пурпуровый камешекъ.

Сложилъ лилеи (не лилеи—руки), преклонясь.

Зашепталъ, и глаза облекли не сквозныя слезы—жемчужины: «Радость, радость—

«ты съ нами».

И слова текли настоемъ цвѣтовъ—лилеемъ (былъ же лилей настой цвѣтовъ).

Старецъ былъ, какъ дитя, ясенъ.
Еще яснѣе придвинулъ книгу.
Бормоталъ.
И шуршалъ янтарными страницами.

Слышалась зацвѣтающая пѣснь, которая вотъ началась, и вотъ не кончалась.

Это сыпались снѣги.

Изъ дверной щели протянулась миндальная вѣтка и вотъ бѣлые съ нея хлопья падали на старика, оцвѣтили хладно его ноги.

Міръ великъ, онъ возлѣ, а мы на землѣ.
На землѣ—
пусть, о, пусть:
Старикъ, откуда же грусть?
Лилей, старикъ, скорѣй пролей.
Міръ великъ: онъ возлѣ, а мы на землѣ.

Странникъ остался одинъ.

Надъ нимъ взмылись легкосвистныя стѣны, но кто-то ихъ оборвалъ.

Заглянулъ въ могильный колодезь—и вотъ тамъ ничего не было.

Прошушукалъ крестъ, облеченный снѣжнымъ блескомъ, фарфоромъ разбитаго вѣнка надъ начертаніемъ чьей-то безвѣстно могилы:

«Помяни его во царствіи Твоемъ».

«Я не воскресшій—больной, отуманенный разумомъ.»

Поднялъ руку.

Засвиставшимъ простроились серебромъ метельные его

пальцы, и показалось ему, что не живой онъ—весь сквозной.

Со святыми упокой: онъ и здѣсь, и далеко.

Помяни его во царствіи Твоемъ, помяни: во чертогѣ, Спасе мой, Твоемъ—

золотомъ—

во чертогѣ золотомъ помяни!

Воспоемъ, братія, раскрывая объятія: «Чертогъ свѣтелъ».

Пропѣли: никто не отвѣтилъ.

Къ старцу пришла молодая игуменья — заря-зорюшка ясная. И, протягивая руки, сказала: «Солнце закатилось—скатилось.»

Да, оно закатилось.

Тамъ, гдѣ стояла, склонилась чернымъ клобукомъ и надъ ней протянулась благословляющая старческая десница.

Далъ, кряхтя, золотого вина, далъ—: пролитого въ кружку.

Потомъ его разводилъ водой: «Выпей, радость моя,—выпей сладость.»

И монашка пила и сидѣла тутъ, черная съ бѣлымъ лицомъ. И глаза ея—лазури—уставились на молитвенника, точно небо изъ облака: «Вотъ и вчера тутъ сидѣла».

«И думала объ одномъ.»

«Что и я была въ мірѣ.

«Но прошло это время. И вотъ я тутъ сижу».

«Сижу и думаю объ одномъ».

Старикъ поднялъ надъ ней свѣтозарное, старое лицо.

И черныя четки то падали, шелестя, въ упавшихъ ру-

кахъ, то вновь закидывались надъ клобукомъ въ сквозныхъ пальцахъ ея.

Глаза странника изъ-за льдяныхъ, оконныхъ колосьевъ глянули любовно, когда прильнулъ онъ пѣсней въ метельномъ столбѣ.

Глаза монашки сверкнули солнцемъ, когда съ окна она на старца перевела взоръ.

Но старецъ пригорюнился: «Вотъ ходитъ тамъ мой работникъ за окнами. Онъ рехнулся.»

«Ходитъ и думаетъ, что снѣжитъ».

«Но пришло время. Иди, мать-игуменья: пора и тебѣ въ монастырь».

Протянулъ руку. Разрѣзалъ золотую зеркальность заката бѣлыми клочьями рпзы.

Поднесъ къ устамъ ея образокъ—кусокъ золота.

Сказалъ, напутствуя: «Еще не много: остановится время; міръ перестанетъ мчаться впередъ».

«И прошлое вернется.»

Въ окнахъ вставали трубачи снѣговые: пушистыми трубами въ небо трубили шумно, восторженно, радостно.

Трубили колкимъ блескомъ.

Игуменья улыбалась: «Иду я отъ старца домой въ монастырь.»

Слѣды ея, черныя пятна, за ней тянулись по снѣгу.

Горькимъ плѣненіемъ, племя юдольное, не устанетъ мчаться впередъ—доколь?

Но вотъ:

сладкимъ забвеніемъ осластится боль.

Прейдутъ года и, тая, угаснетъ время.
А пока—
времени рѣка зоветъ.
Ну вотъ:
впередъ, все впередъ—за годомъ годъ.
О, юдоль золотая!

Полiелей.

Старица видѣла сонъ.

Плавно качался чешуйчатый гадъ на червонныхъ кольцахъ.

Когда, влачась по храму, вползъ въ алтарь и служилъ тамъ обѣдню, изъ-подъ волосатой морды, прощемленной ехидствомъ, изъ зѣва попрыскивалъ ѣдкой сѣрой кощунствъ.

Когда, влачась надъ обителью, по небу ползъ змѣй метельный, изъ холодной пасти его попрыскивалъ снѣжокъ бѣлоградным хрусталикомъ.

Утромъ епископъ, подкативъ къ обители, то выставлялъ свой лпкъ изъ возка, то плутовато клонился въ шубные соболя: «Ну-ка, что встрѣтитъ меня въ сей еретической киновіи?»

Ниспалъ на возокъ сквозной шмель пурговый.

Ужалилъ епископа морознымъ жаломъ.

Уже молодая игуменья горбилась съ крыльца печенымъ хлѣбомъ и солью.

Зыбкій снѣгъ ее обласкалъ, прыснувъ въ ноги горстями цвѣтныхъ каменьевъ, и она то прижигала взоромъ смиренно припавшихъ къ епископу вопленницъ («Кто не проглотитъ языка?»), то впивала грудью снѣговое мурро пророчествъ.

Возокъ епископа откатился отъ ея крыльца, прочертивъ хрупкій бѣлоцвѣтъ золотою змѣею.

Паркетъ блестѣлъ воскомъ. Надъ нимъ пролетѣлъ грудной цѣпной крестъ въ черномъ шелку на фарфоровой шейкѣ игуменьи.

За ней мантія прошушукала теменью: «Владыко, будьте гостемъ: мы, какъ и всѣ».

Изъ-подъ плата свирѣпо дрогнули мертвыя скулы послушницы и уста, опечатанныя нѣмотой.

Точно гремучая змѣя свистѣло епископское лицо, но хитрая ересіаршица безотвѣтно клонилась: «Не знаю я... не знаю...»

Хмѣль встрѣчи метелица претворяла въ грозный шумъ судьбы.

Въ окна стучали персты ледяные.

Гремучая змѣя, прошелестѣвъ рясой, уползла изъ кельи игуменьи.

Епископъ служилъ въ храмѣ.

Кукушечій кличъ клира покликивалъ съ клиросовъ, когда чуть подъятымъ старческимъ ликомъ золотой епископъ выходилъ съ чашей въ рукѣ:

«Благочестивѣйшаго, самодержавнѣйшаго...»

Кукушечій кличъ куковавшаго метельнаго клира покликивалъ жалобно въ окна.

Епископъ, безотвѣтно запахнувшись въ шубу, прощальнымъ шипомъ прошипѣлъ, словно уносясь на крыльяхъ метели: «У васъ все по-старому. Напрасно на васъ доносли».

Ему вслѣдъ кричала черная игуменья, острымъ посохомъ прожаливъ крылечко: «По-новому, змѣй—все-то у насъ, змѣюшка, по-новому».

Сквозь щель возка вьюжный воинъ вьюжно взвизгнулъ на епископа вьюжнымъ серпомъ.

Шелкомъ игуменья неизмѣнно выростала среди монашекъ и богомольцевъ, нападала, какъ черная пантера, потрясала тяжелымъ острымъ крестомъ, прославляла грядущаго странника и убѣгала.

Столбъ метельный, гудя, выросталъ, бросался на нее, какъ бѣлый звѣрь, осыпалъ цвѣтами и ускользалъ.

Монашки волновались.

Возмущенные духомъ богомольцы ходили за ясновзорной пророчицей,

то склоняясь, то устрашаясь

А вдали столбъ метельный, какъ странникъ, проходилъ по полямъ, какъ бы плача,

то склоняясь, то выпрямляясь.

Такъ звучалъ призывъ къ спящимъ, но все обрывалось въ отдаленіи сметеннымъ вихремъ слуховъ.

Такъ звучалъ призывъ къ спящимъ, но все сливалось въ далях гулкимъ хохотомъ заплясавшихъ метелей.

Въ храмъ вошла игуменья. Кто-то, знакомый, одѣвалъ черную касатку въ сіяющія ризы блеска и свѣтомъ ихъ зажигалъ.

Метель пронизывалъ лучъ. Кто-то, знакомый, разрывалъ кружево метелей и блескомъ снѣга обливалъ: они сіяли сквозными перьями блеска.

Игуменья стояла въ сквозныхъ перьяхъ блеска; и слезы—жемчужины—наполняли ея стеклянные глаза.

Изъ храма выбѣгала она. Кто-то, знакомый, въ скуфейкѣ уходилъ въ столбъ метельный.

Тамъ онъ стоялъ за обителью въ сквозныхъ перьяхъ метелей и снѣжинки текли изъ его стеклянныхъ глазъ.

Метель запѣвала: «Года, неизмѣнно текущіе, проходили, наполняли чашу временъ, проливались въ прошлое и возвращались».

Глаза игумены, оттѣненные рѣсницами, опускались, счастьемъ сіяли и погасали.

Столбъ метели, неизмѣнно взлетавшій, бросался на обитель, обливалъ ее снѣгомъ, призывно плакалъ и пролеталъ.

Жену облекало солнце въ золотую порфиру лучей, испещренную пятнами, и вотъ порфира слетала съ ея плечъ.

Чашу, наполненную виномъ, тихо вознесъ іерей, облеченный въ солнце, и вотъ монашки пріобщались крови.

Монашки облеклись въ бѣлую, какъ бы льняную одежду, испещренную пурпуровымъ цвѣтомъ, и вотъ стояли со свѣчечками въ рукахъ.

Солнце облеклось въ метельную, какъ бы серебряную пѣну, зажженную блескомъ, и вотъ метельная пѣна плыла надъ обителью.

Глаза странника изъ-за льдяныхъ оконныхъ колосьевъ будто глядѣли любовно, когда къ окнамъ прильнулъ во столбѣ во метельномъ.

Глаза ея съ амвона будто сверкали на вьюгу любовно, когда острый метнула въ окно, острый свой взоръ.

Отъ непрестанной молитвы Іисусовой восхищенная духомъ обитель изъ-подъ стѣнъ монастырскихъ въ воздухъ синій колокольнымъ звономъ скликала толпы страстно, властно, пророчески.

Отъ непрестанныхъ вѣтровъ хохочущій потокъ снѣжный изъ-за стѣнъ монастырскихъ въ воздухъ синій билъ кружевнымъ, хладнымъ ревомъ, свистомъ, блескомъ предвесеннимъ.

Духово пьянство.

Пробиралась по снѣгу тамъ молодая игуменья, собравъ парусомъ черным надутую мантію въ руку, а другой рукой оправляла клобукъ и клонила на грудь милый, розовый ликъ свой.

Когда вздулся изъ-подъ нея снѣгъ, охватилъ ея станъ, ножку она поставила на паперть: такъ стояла въ развѣянныхъ ризахъ съ синими, высоко закинутыми очами, размашисто покрывая себя крестнымъ знаменьемъ.

Черныя, черныя, старицы, преклонясь рогами свѣщныхъ огней, пляшущихъ надъ клобукомъ, хвостами прошушукали вдоль амвона, и оторванные рои искръ, будто красныя пчелы, уползающія въ ѳиміамъ, и чѣла ихъ, кровью гвоздикъ оплетенныя, и пламена восковыхъ копій,—все прозвучало въ нихъ объ одномъ, все о томъ же, когда чинно текли онѣ старѣющими ликами, бархатными клобуками и огнями.

Такъ одна за другой протекли, а красавица, сжавшая

четки, уронила головку съ золотой прядью волосъ, не утаенной вуалью, какъ ниспадала вуаль, омывая ей плечо.

Это розовоустая, молодая игуменья съ дрогнувшими ноздрями, четками шелестя, преклонилась, и темный дымъ, свѣянный до полу съ клобука, и большой, цѣпной крестъ, и серебряная головка у личника сжатаго посоха—все замирало призывомъ въ ней, мольбой.

Я ль замерзая въ снѣговомъ атласѣ, Свѣтлый Спасе, Тебя не ищу,
лобзая,—
Спасе мой?
Я ль, попирая землю, свѣщу въ метель не подъемлю, Свѣтлый Спасе,—
Спасе мой?

Когда изъ голубыхъ заиконостасныхъ пространствъ удивленно взлетѣла золотая десница діакона, бряцая кадиломъ, монашки клонились, вздыхали, замирали.

Когда вѣтеръ обнималъ серебрянымъ кружевомъ красный домикъ игуменьи, домикъ сквозилъ на метели розовыми пятнами.

Когда свѣивалъ вѣтеръ свои бѣлыя ткани, обиженный домикъ игуменьи краснѣлъ межъ сугробовъ; но вѣтеръ опять его обнималъ кружевами своими.

Когда окончилась служба, съ красной связкой цвѣтовъ парчевой іерей выбѣжалъ изъ алтаря.

Когда окончилась служба, монашка переплетала свой бархатный клобучекъ сырыми, тепличными розами.

Когда окончилась служба, ясноочитыя юницы въ огнѣ цвѣтовъ смѣялись другъ другу хрустальнымъ смѣхомъ.

Въ рѣшетчатыхъ окнахъ храма сквозной омофоръ снѣговой парчею царапалъ окна.

Духъ озарилъ мать-игуменью, и она изогнулась атласнымъ станомъ, а ея точеные пальцы въ стрекотаньѣ пляшущихъ четокъ плеснули черной волной муаровой мантіи, точно засвиставшими въ небо крыльями: такъ она замирала, испивая восторгъ; изъ-подъ шелковыхъ рѣсницъ жадно горѣли ея глаза, жадно; руками точно терзала и яркіе гроздья розъ, и цѣпной свой крестъ на упругой груди, а зовъ съ полуоткрытыхъ слеталъ ея губъ, нѣжноалыхъ и сладкихъ.

Вотъ сестры, зовомъ ея плѣнясь, какъ дикіе большіе стрижи, предъ полетомъ устало махнувшіе крыльями, сестренка съ сестренкой, въ плясъ пошли въ мертвыхъ ризахъ, въ розахъ ярыхъ; а изъ-подъ востраго клобука, изъ-подъ темныхъ и низкихъ платовъ къ губамъ прижимая росистыя горсти цвѣтовъ, въ цвѣты усмѣхалась игуменья-матушка и лобзала ихъ страстно, несчетно.

Юницы чистыя, отроковицы сладчайшія,
ахъ,
поднимайте росистыя, сочныя чаши,
цвѣточныя!
— «Мы страа-аа-ждеемъ... Мы жаа-аааа—...
«Дуу-уу-ша ии-стаа-мии-лаась въ раа-злуу-уу-кѣѣ»...
Ахъ, цвѣты, виссонъ, поклоны—и ты:
ты звонъ колокольный! Имъ вольно—
имъ отъ радости больно, такъ больно!
— «Мы страа-аа-ждемъ
«Мы жаа-аааа»—...

Въ открытыхъ дверяхъ храма съ синяго, съ синяго простора на паперть низринулся ясный облакъ. Нѣжно кропилъ онъ прохладой снѣга и алмазнымъ цвѣтомъ пляшущихъ сестеръ.

Хрупкими, хладными снѣгами, будто мягкими бархатами устлали паперть его бѣлыя, какъ цвѣты, опадающія руки.

Сестра была сѣда: она бросила глаза въ потолокъ. Блѣдными бѣльмами, точно яичной скорлупой, уставилась въ куполъ.

Другая, юница, крутясь, насупила брови.

Жутко было видѣть скачку клобуковъ, паруса надутыхъ ризъ въ озаренномъ храмѣ.

Это была духовая пляска.

Не меня ль, не меня ли вы отгадали теперь?

Открою дверь.

Милыя сестрицы, вздыхаю въ дали не я ль?

Въ открытыхъ царскихъ вратахъ съ матовосвѣтлаго стекла на всѣхъ уставился ясноочитый ликъ. Кротко яснѣлъ онъ синевою глазъ и спѣлымъ колосомъ бородки среди богомольныхъ выкликаній.

Красными своими тканями, будто языками огней, раскидались надъ сестрами его перловыя руки.

Это была икона.

Вьюга изогнулась надъ оконцами, къ нимъ прильнула: «Я—воздушная, бархатная».

«Я—холодная, вся сквозная».

Отлетѣла, и въ оконцахъ заяснѣла голубая пустота.

За руки возьмитесь, другъ друга любите сегодня: уймитесь напасти и муки, уймитесь волненія:—страсти Господни.

Чѣмъ безвластнѣй, безумнѣй пьяныя духомъ сестры летали въ пляскѣ, тѣмъ жаднѣе къ явствамъ онѣ склонялись и внучатый іерей, и сутулыя старицы, и красавицы, юницы, отроковицы, вдовы черныя, бѣлоликія, розовоустыя; другъ другу онѣ потиръ подносили, потиръ свѣта, размыкали вѣнчики устъ и глотали вино.

И желтое вино, закипавшая цвѣтень, пошипывало въ чашахъ и опѣняло имъ края.

Игуменья надъ каждой склонялась сквознымъ ликомъ, сотканнымъ изъ воздуха, и щербатая старица, ютясь у ея ногъ, мочила въ винѣ свои горькія розы, осыпала ей руки сырымъ пурпуромъ, увядшими лобзала губами ея пальцы, черный лукавый шелкъ у нея терзала на груди, чашу вина подала ей, съ рыданіемъ; и когда красавица въ смѣхѣ пригубила чашу, алмазный цвѣтникъ распыленныхъ розъ, на мгновенья взвѣшенныхъ въ воздухѣ, оборвался дождемъ лучей.

Вскипѣла пурга. Перловый ликъ въ благолѣпномъ пламени ризъ метнулся изъ алтаря: кусокъ матоваго стекла, захрустѣвъ, вылетѣлъ изъ окна, прозвенѣлъ и разбился.

Это подъ вьюгой разлетѣлось вдребезги окно.

И тогда, погасивъ огни, онъ прошелъ изъ окна съ мягкой, мягкой пургой, опадающей звѣздами, охватилъ ея станъ, и она уронила головку въ бурно брызнувшемъ снѣгѣ.

— «Мы жаа-аа-ждеемъ... Мы страааа-аааа—...

«Рааа-баа
«твоо-его...
«идѣже нѣсть—
«болѣзни и печали... воздыхаа—»...
— «Аа ии-стаа-мии-лаась
въ раа-злуу-уу-кѣѣ».

Мертвецъ.

Одежды спадали со странника, точно дней кружевныя метели; и онъ лукаво ихъ отрясалъ, восходя надъ смертію, когда, плотничая для старца, хохоталъ надъ земнымъ своимъ дѣломъ безумно, все безумнѣе—стружки срѣзалъ рубанкомъ:

съ него, надъ нимъ, вкругъ него гробовая его пелена, взмываясь въ прошлое свиставшими лопастями, взмывалась; на прошлое оборачивался сверкучей отъ снѣга скуфейкой съ рубанкомъ, шипѣвшимъ стружками на бревнѣ—ахъ, да нѣтъ:

то не была его запорошенная скуфейка: то алмазная митра святителя полевого въ огняхъ,

зацвѣтавшихъ и отторавшихъ;

это его ледяныя руки въ дни опускались, дни срѣзали,—и дни завивались.

И не саванъ лопастью за плечами у него былъ: то безвременье у него замывалось съ плечъ туманными пятнами временъ и сроковъ.

И не стружки срѣзалъ его рубанокъ—нѣтъ, и нѣтъ: вьюга срѣзала сугробы, и сугробъ, нитью мухъ золотыхъ въ небо воздушно росъ—летѣлъ надъ окошкомъ игуменьи кружевнымъ фонтаномъ, бѣлопѣннымъ въ свистѣ, въ блескѣ, въ хохотѣ.

Желтыя стружки падали въ рыхлый снѣгъ.

Скуфейка торчала въ ясной зорюшкѣ.

Изъ-за кустовъ выглянуло смѣющееся личико какой-то монашки, влюбленной въ скуфейника, и сразу пряталось, когда обращалъ на нея ликъ, полный укоризны.

То монашка вышла за обитель, гдѣ красовался странникъ, какъ легковьюнный столбокъ метельный.

Все, что снѣжилось въ душѣ его, укрылось до времени.

Видѣла—плотничаетъ на морозцѣ въ бѣломъ подрясникѣ, въ желтыхъ лапоткахъ,—весь сквозной, ясноокій.

Увидѣлъ монашку. Легкимъ движеніемъ воткнулъ въ бревно звонкопѣвшій топоръ.

Изъ снѣжной щели рвалась ледяная дорожка ручья застывшей, лазурной струной.

Сыпался снѣгъ, точно цвѣтъ миндальный, и не могъ просыпаться.

Среди снѣга шла дорожка золотыхъ протоптанныхъ слѣдовъ.

Оттуда пришли слѣпцы.

Грустно вздыхая, коснулся ихъ зрака. Сталъ молча водить по лицамъ мягкими варешками.

Вспыхнулъ самъ. Вспыхнули ослѣпленныя лица.

Прозрѣли. Увидѣли свѣтъ.

Какъ изъ оболока дней, такъ изъ оболока метелей онъ теперь выплывалъ ясноочитый, сквозной, какъ мѣсяцъ изъ тучки, какъ душа изъ времени, какъ ангелъ изъ бури своихъ перьевъ.

Ясновзорная монашка выбѣжала къ нему, плеснула ру-

ками, припала персиковыми устами пить снѣжекъ съ его желтой лапотки.

Странникъ, странно усмѣхаясь, погрозилъ ей перстомъ: «Тебѣ бы все возиться со мной, да мнѣ не досугъ: плотничать надо».

«Ааа»....

И пристыженная монашка текла въ обитель куковать псаломъ.

Снѣжная струйка взвилась. Холодкомъ плеснула монашкѣ въ лицо. Въ ноги упала.

Еще. И еще.

Протянулъ за ней странникъ руку.

Снѣжной лиліей рука пронеслась. Другая рука снѣжкомъ въ полѣ плеснула.

Еще. И еще.

Мимо монашки пролетѣла большая воздушная скатерть. Мимо онъ пролетѣлъ большой воздушной скатертью.

Старецъ нагналъ монашку: «Вечеркомъ не ходи ты сюда. Послушникъ мой не въ своемъ умѣ».

«Думаетъ, что снѣжитъ».

Назадъ отъ монашки побѣжалъ черной, сутулой спиной. Низко надъ бревномъ согнулся бѣлый, стругающій скуфейникъ.

Проходя въ келью, онъ все думалъ о томъ, что онъ, онъ, возставшій изъ мертвыхъ, совлечетъ съ міра пурговыя ризы и міръ прейдетъ той же пургою, что клокочетъ такъ звонко подъ голубымъ, блѣднозіяющимъ серпомъ;

и его хрустальныя, до ужаса прозрачныя руки распахнули дверь, когда старецъ оттуда заклокоталъ на него: «Что ты

во снѣ? Я и ты—мы живые: ничего такого не было и не будетъ».

Но онъ улыбался змѣиной мудрости своего стараго друга.

Такъ онъ — сквозной мертвецъ—стоялъ съ ясной, какъ серпъ мѣсяца, бородкой, занесенной въ вечерѣющую синь, и его пальцы, будто примерзшіе къ двери, хрусталили ее ледкомъ.

Монашка, смятенная странникомъ, перебѣгала отъ кельи къ кельѣ.

Слышалось жужжанье удивленныхъ старицъ, жужжанье многихъ веретенъ, которое началось и не могло кончиться: по дворику пробѣгала благолѣпная старушка, оставляя за собой воскресный вѣтерокъ псалма.

Слышалось благолѣпное кукованіе псалмовъ ясновзорныхъ монашекъ, благовѣщавшихъ и въ кельяхъ, и на снѣгу: и юницы клира благоухали молитвеннымъ свѣченіемъ.

Приходила ночь и говорилъ старикъ, забывая дневную строгость: «Пора домой мертвецамъ».

Лукаво они, серебряные, сквозные, текли по снѣжку къ могилѣ, открывали гробницу и подоблачнымъ ходомъ опускались въ прелестную старину, потому что снѣжное поле было полемъ большого облака, пролетающаго по тверди.

Вокругъ нихъ струились своды и они по какимъ-то туманнымъ уступамъ выходили къ пробоинѣ, глядящей въ свистучую страну эоировъ.

Они бѣжали подъ мѣсяцемъ внизъ по сквознымъ, кисейнымъ мостамъ, и тѣни ихъ, на пробѣгающемъ подъ ноги облакѣ, какъ летучіе, черные иноки стрижами неслись вмѣстѣ съ ними.

Безстыднымъ блескомъ хрустальныя крылья небесныхъ летуновъ сквозили вдали, вдали, какъ проносящійся рой стрекозъ, подъ звѣздной киновіей звенѣвшій—всѣмъ, всѣмъ: и печалью міра, и летучимъ ужасомъ, и грустью, и слезинками изошедшей въ мірѣ сестры, и зовомъ женъ; и они едва успѣвали понимать: «Аааа... Ааа».... И проносилось новое.

Вотъ два сверкающихъ инока, въ бѣгѣ перерѣзавшіе небо, кричали, ужасаясь восторгомъ: «Ааа... Ааа...», но выходило: «Свять, Свять, Свять».

Утромъ, не вспоминая ночи, старецъ молился, и плотничалъ странникъ.

Верхомъ на мѣсяцѣ.

«Милый, дай счастье... дай.»

Игуменья на зарѣ приложила дивное личико къ безвѣстной могилкѣ.

Теплыя ея руки пали на грудь нагую плиты гробовой, и трепетали чуть приподнятыя чаши изъ-подъ свистомъ взволнованнаго ея атласа, откуда серебряный крестъ холодно звонилъ по голымъ плитамъ.

Когда охватила гробницы станъ морозный, тяжелый, духомъ она ниспадала въ далекое прошлое, въ фарфоровый шепотъ цвѣтовъ надъ могилой, и разбрызганные снѣга оголяли льдомъ окованный каменный гробъ; въ охрусталенныхъ плитахъ отразилось дивное ея, дивное личико съ дрогнувшими ноздрями, омытое черной волной, изъ-подъ клобука бѣжавшихъ шелковыхъ платовъ ея.

Многокрестное кладбище, терзаемое порывомъ, страстнымъ гласомъ стенало, въ любовной ширило пытѣ свои огневыя,

фонарныя очи, то янтарныя, то малиновыя, лопастью пурги свѣиваясь въ утро, точно въ часъ брачный фата кокетливой невѣсты, сорва́нная женихомъ,—потрясало, тянулось вѣнчанными руками своими—десятками крестовъ—къ нему, къ вѣтру: фарфоровые лепестки, дзинькая, опадали на плиты.

Вѣтеръ лукаво вопрошалъ, а красавица отвѣчала дрожью, а старинное кладбище, властно мерцая, обращало къ вѣтру янтарные взоры; а вѣнки фарфоровымъ били трезвономъ.

И безвѣстная сѣрая женщина, искони попирая гробницу, каменнымъ порывомъ точно безвластно кидалась въ метель; вѣтеръ охватилъ изваянный станъ сквозными своими метелями, струйно терзалъ мраморный станъ и тяжелую грудь, устами суровыхъ ея касался, гранитныхъ устъ; въ раздѣленныя складки ея одеждъ билъ онъ бурно, безстыдно, властно.

Одной рукой
сумасшедшая игуменья сорвала плиту гробовую;
другой она рукой
охватила крестъ, прильнувъ къ нему малиновой отъ лампаднаго блеска головкой,—
припала, припала—
съ языками, точно черныхъ огней, лизавшаго крестъ мантійнаго шелка, словно омываемаго вѣтромъ съ ея четко обрисованныхъ ногъ и бедеръ.

Синее, милое во гробѣ лицо пеленали снѣжные саваны—синее, милое съ ночнымъ бархатомъ рѣсницъ.

Изогнулась, свистнула шелкомъ ея бѣлая изъ-подъ мантіи ножка, приподнятая надъ гробной лазурью.

Милаго не было тамъ: бѣлый серпъ тамъ глубоко, глубо-

ко зіялъ, въ голубомъ колодцѣ истомы и едва-едва свѣтили тамъ звѣзды.

Прелестію звала гробовая лазурь, указала свою необъятность,—показала то, что никому не показываютъ, и черная красавица, подобравъ рясу,—скокъ да скокъ туда бѣлыми ножками: оборвалась съ вверхъ взметенными одеждами—туда, туда: тамъ канула, словно черная роза въ голубомъ колодцѣ.

Когда стремительно она низринулась, какъ упругій, въ стремнину брошенный, черный дротикъ, какъ завизжавшій стрижъ, разметнувшій упругія крылья—мимо оболока, мимо—къ звѣздамъ, къ обтаявшимъ лазурью рогамъ щербатаго мѣсяца; когда осѣдлала серпъ своими горячими, бѣлыми ножками и вверхъ метнувшіеся шелка съ длиннымъ, какъ змѣй, шушукавшимъ, чернымъ ея мантійнымъ хвостомъ,—длинныя ризы извивались вправо и влѣво;

когда мѣсяцъ вправо и влѣво взрѣзалъ своимъ выпуклымъ лезвіемъ прохлады изсиня-синихъ воздуховъ и, мча ее,—ниспадалъ, ниспадалъ;

когда грудкой склонилась она къ нѣжно-бѣлому, насмѣшливо дребезжащему рогу, и онъ вспарывалъ грудку терпкимъ, дикимъ, давно запѣвавшимъ восторгомъ:—

тогда все въ ней взывало въ гробныхъ лазуряхъ, все—и она, и звѣзды, взиравшими на нея долгими взорами, какъ и встарь, и лобызавшая ея синь дорогими, воздушными, гдѣ-то ужъ процѣлованными устами;

тогда бѣлая мертвая ея головка съ алой закушенной острыми зубами губкой, и рыжій пламень изъ-подъ платовъ распущенныхъ косъ, и стрекотавшія по воздуху четки, какъ звонкая плетка, награждавшая ударами страннаго, насмѣшливаго коня,

дивною прелестію сердце сжимало; тогда изгибы ея атласнаго стана и черные чулочки въ красныхъ подвязкахъ, и надъ чулочками молочный цвѣтъ колдуньиной ножки, и бархатный клобукъ, какъ темный рогъ, уставленный впередъ, и злой сладострастный ея взоръ изъ-подъ дугой сошедшихся бровокъ—все, все старыми чарами сожигало, старинными.

Но хладные рога мѣсяца завернулись вокругъ ея ногъ—не рога: чьи-то цѣпкія руки тащили ее въ прошлое; и не она летѣла, а ея увлекала осѣдланная ей спина: вотъ изъ-за спины поднялась большая, какъ бы оскаленная на любовь ея, какъ бы стеклянная голова въ вѣнцѣ сребробѣлыхъ сѣдинъ, и смотрѣла на нее долгими взорами. То время уставилось на нея—голый старикъ, скачущій по поднебесью: «Сошла къ намъ за милымъ, а меня повстрѣчала: лечу, лети, летимъ—летей съ летеей—летейскіе».

Нѣжно взирали пустыя небеса, нѣжно. И зовъ слеталъ съ ея устъ призывный, стенающій:

«Я страа-аа-
«ждуу...
«дуу-уу-ша
«ии-
«стаа-миилаась въ разлу-уу-
«кѣѣ...»

Подъ скачущей парой бѣлые клубы залетныхъ, летейскихъ тучекъ. И время тащило ее сквозь нихъ, и ея ухватили холодный, бѣлопуховый войлокъ, ея пальцы; и подоблачный низъ метнулъ громную молнью въ сребробѣлаго старика, и онъ съ опаленнымъ, чернолиловымъ лицомъ покатился внизъ.

Такъ колдунья осталась на облакѣ черной воздушной

тѣнью, и уже вверхъ она скользила, точно влекомая въ лазурный пролетъ надо всѣмъ свисающаго облака, откуда низринулась, обезумѣвъ отъ воспоминаній — тѣнь скользила.

И она была тѣнью снѣгооблачнаго мужа.

Вотъ поднялся снѣгооблачный мужъ, какъ воздушный іерей въ алмазной митрѣ, изогнувшись слѣпительнымъ станомъ, а хладные его пальцы въ стрекотаньѣ блещущихъ лучей мѣрно и плавно несли мѣсячный осколокъ, какъ осколокъ чаши алмазной, поливающей свѣтъ.

Онъ испивалъ старинный старины напитокъ къ намъ взывающаго томленія, и въ голубой пролетъ надо всѣмъ свисающаго облака тѣмъ же онъ взиралъ глубокимъ томленіемъ, что, какъ любовь, зоветъ все неумолчнѣй,—и зоветъ-то, и плачетъ-то, ластится и раскачиваетъ дѣтскую колыбель души сиротинки, похищенной временемъ.

Другой онъ рукой долу опустилъ перловый трезубецъ, лучащій въ низины острый токъ молній.

За нимъ влеклась его тѣнь, словно клобукомъ опрокинутая игуменья.

Вотъ онъ всталъ надъ облачнымъ пролетомъ; — вотъ, смотрите, онъ всталъ: испивъ, пустилъ отъ себя осколокъ чаши хрустальной въ высокую улетѣвшій вышину утреннимъ мѣсяцемъ.

Вотъ стоялъ онъ надъ гробною лазурью: — вотъ стоялъ онъ, а его тѣнь лежала въ четырехугольной ея пролетѣ, словно въ изсиня-синемъ гробу, запорошенная дымомъ, будто снѣжкомъ.

«Уй-мии-тее-сь

«волнее-ніі-яя страа-аааа»...

«Ааахъ».

Игуменья проснулась на чьей-то безвѣстной, ледкомъ охрусталенной могилкѣ.

Утренній серпъ въ небѣ свисалъ лепесткомъ изогнутой лиліи, едва примѣтной, бѣлой.

Ясноочитый стоялъ скуфейникъ надъ упавшей игуменьей.

Клонился и ей говорилъ: «Опомнись, родная: вѣдь могила пуста».

Вѣтряный напоръ взвилъ его одѣяніе кисейными лепестками.

Ее онъ поднялъ, ей улыбнулся и оправилъ огонекъ лампадки.

Завизжали красные фонарики, охваченные вѣтромъ.

Многокрестное кладбище, терзаемое порывомъ, страстнымъ гласомъ стенало, въ любовной ширило пыткѣ свои огневыя янтарныя очи; потрясало, тянулось вѣнчанными руками своими — десятками крестовъ — къ нему, къ вѣтру—рыдало: фарфоровые лепестки, дзинькая, опадали на плиты.

Вспомнила!

Вьюга вздохнула безотвѣтно, и она вспомнила шелестъ скрипокъ въ театрѣ, гдѣ шлейфомъ когда-то разметала незабудки, гдѣ упивались ей, восхищались, дышали; гдѣ милый ей улыбался и звалъ, какъ и въ дѣтскіе годы куда-то.

Но строгій скуфейникъ, стоявшій надъ ней, тронулъ ее, и они пошли прочь отъ воспоминаній.

Тамъ махали вѣтками снѣжныхъ ландышей: тамъ облегченно упивались просторомъ.

Тамъ былъ летъ снѣжной пѣны, разбрызганный въ пространствахъ и размѣшанный съ сумракомъ.

Весь день они пробродили въ поляхъ.

Она шла рядомъ со странникомъ, потупясь, и черная вуаль вихрилась за клобукомъ.

Она робко вскидывала глаза, будто исповѣдуясь: «Я ушла отъ міра: я любила—но любила сонъ—не его».

И странникъ склонился золотою бородкой: вѣтряный напоръ сталъ рвать его кудри; матовый ликъ улыбнулся бархатной улыбкой, чуть-чуть страшной: «Нѣтъ, его ты любила!»

Блѣдный стоялъ, чуть прищуренный, и вьюга въ душѣ запѣвала, какъ прежде.

Лапа метели то гладила ихъ, то иглами, звѣздами, снѣжными перлами дико царапала.

Они подняли другъ на друга синія очи, синія и покрыли ихъ, щурясь, чернымъ шелкомъ рѣсницъ, грустные, не узнавая другъ друга.

Поднялся сѣрый мундиръ, и сквозное глянцевитое лицо въ ореолѣ лиственныхъ сѣдинъ, вперенное въ мать-игуменью, запѣло, какъ и не разъ ей пѣвало:

«Какъ хоо-чии-тся мнѣ вѣѣ-рнить ии люю-бинить»!

Но глянцевитое лицо покрылъ странникъ свѣтлой ладонью—и увидѣла, что на высокомъ сѣромъ столбѣ вѣтромъ стрекочетъ фонарь съ жестянымъ, серебрящимся верхомъ.

Странникъ сказалъ: «Это караулитъ прошлое на границѣ, дряхлаго міра».

Они прошли и ей вслѣдъ верещалъ стеклянный фонарь на деревянной палкѣ: «Я любилъ, и вотъ я мертвъ»!

Солнце подкатилось къ землѣ и проваливалось.

И оно провалилось.

И тамъ, гдѣ съѣла земля золотой его плодъ, красный сокъ стекалъ въ небо.

Они стали на сѣромъ голышѣ, съ котораго спадали воды.

Нынѣ подмерзъ водотекъ и остуженныя ледышки вѣнкомъ хрупкихъ струнокъ вонзались въ бархатъ сугробовъ съ гранитнаго лба.

Мѣховымъ сапожкомъ она топтала голышъ, точно гигантовъ запрокинутый черепъ.

Гигантовъ ликъ скудно крысился мертвымъ хохотомъ: вѣтръ скулилъ въ ледяной трещинѣ рта: «Подруга дней моихъ, я во снѣ возвращался».

Она отвернулась отъ прошлаго съ отемненнымъ сердцемъ.

Метель кидалась снѣговыми объятіями.

Огненно желтый закатъ потухалъ надъ полями.

Она говорила, сжимая четки: «Почему у милаго было свѣтлое, свѣтлое лицо? Онъ былъ въ жизни, какъ странникъ».

И склонился: губы его разомкнулись, точно доли багрянаго персика, взрѣзаннаго ножемъ: «И я странникъ тоже».

Она смотрѣла въ неземное жемчужное лицо странника и узнавала никогда не забытыя черты.

«Это я шепталъ о воскресеніи, но ты меня убивала: умиралъ и воскресъ. Это я ратоборствовалъ за тебя, нисходилъ во адъ, гдѣ ты отошла отъ меня».

Чернымъ стрижомъ она припала къ свѣтлому скуфейнику, но вѣйный іерей въ перловой митрѣ извизжался надъ ней сѣкучимъ серпомъ пурги:

«Ввзвв... ввзвв... я... я...

«Мой гнѣвъ со мною...»

Рясофорная вопленница упала на голышъ, и напалъ перелетный ликъ метели, о голышъ разбился: бѣлыми пчелами пропылился ей подъ воротникъ жужжать о невозвратномъ.

А вдали, вдали уходилъ отъ нея скуфейникъ, уронившій въ варешки слезоочитый ликъ жемчугъ соленый проливать о ней, прося и ей смерти.

Раскрывала ему вслѣдъ алый вѣнчикъ рта, стряхивала въ снѣгъ хрусталики стеклянѣвшихъ слезинокъ.

Протянулись метельныя облачка. Ужъ взывалъ снѣголетный вихорь, холодно бросивъ въ поднебесье кромѣшную пургу.

Пѣснь изъ бездны.

Когда ушелъ скуфейникъ, она осталась у фонаря на границѣ обители и дряхлаго міра.

Фонарь, какъ вздыбившійся звѣрь, стеклянной пастью оскаленный на любовь ея, изрыгавшій вихорь то снѣговой, то стекольный (вьюга разбила его).

Это его метельныя руки звѣриными когтями надъ ней летѣли,

за ней летѣли.

«Кто убѣжитъ отъ меня? Нѣтъ, никто...»

Въ страхѣ бѣжала отъ него, въ сугробъ падала, опять вставала.

И гнался за ней ревъ звѣриный, старинный.

Все тотъ же.

Волновалась обитель.

Въ тѣ дни странникъ уходитъ за гребень многохолмный будто нырнулъ въ метельный океанъ.

Ароматныя куренья струились, и косые лучи солнца, дробимые дымомъ, жутко плескались надъ клобуками монахинь въ храмѣ, точно далекіе лучи благовѣстія надъ сиротливыми вопленницами.

Игуменья шла въ келью, и крикнула, пойманная песьей тѣнью, перерѣзавшей снѣгъ.

То, рыкая, просунулась звѣриная морда изъ открытаго окна на нее,

скалилась на нее.

Она сказала: «Наше прошлое—тѣнь пробѣжавшаго звѣря.

«Вмѣстѣ съ нами въ метели тащится звѣрь, провожая на родину.

«На родину».

Это былъ лающій песъ, кровавою пастью оскаленный на жену, облеченную въ шелкъ, прежде бродившій въ поляхъ, а теперь забѣгавшій вдоль обители.

Это его косматая морда появлялась то здѣсь, то тамъ.

Иногда онъ вилялъ хвостомъ: «Кто накормитъ меня? Нѣтъ, никто...»

Въ страхѣ его обходила игуменья, а монашки его кормили хлѣбомъ.

И рыскалъ по обители, песъ косматый, старый, изъ пространствъ прибѣжавшій.

Метель взвилась и рявкнулъ песъ, запушенный снѣгомъ.

Провалился въ снѣгъ.

Метель запѣвала: «Я метель—улетающая жизнь».

«Вотъ какъ бѣлая птица, взмываюсь я моремъ холодныхъ перьевъ.

«Я надъ вами плыву, неизмѣнная—на родину...

«На неизвѣстную родину».

Въ странѣ брилліантовъ.

Мертвые мертвецы горбились на открытой могилѣ. Старецъ и странникъ съ ризъ струили ткани метелей.

Охрусталенная крышка гроба лежала у ихъ ногъ, и въ гробной лазури зацвѣтали и оттоpали созвѣздья. Охрусталенныя лица клонили въ гробную лазурь гдѣ облака то пробѣгали, то набѣгали.

Глаза странника то грустили, то радовались небытіемъ и онъ говорилъ свирѣльнымъ голосомъ: «Здѣсь супруга моя и груститъ, и томится; и Господь разрѣшитъ ее взять».

Высунулся изъ гроба многокрылый мужъ: «Кто вопрошаетъ Господа Бога?» Высунулся изъ пролета лазури бѣлый Ангелъ: «Кто не видалъ облакъ Славы?» Старецъ побѣжалъ въ гробовой ходъ: «Ну конечно сегодня ночью Онъ проплываетъ здѣсь». Странникъ побѣжалъ въ бѣлооблачный ходъ: «Ну конечно Господь разрѣшитъ вознести ее».

Синій эоиръ нѣжно поцѣловалъ и бросилъ въ нихъ горсть брилліантовыхъ молній.

Бѣлый храмъ громко проплывалъ и громовыя рати старцевъ изъ тучъ блистали мечами. И стаи брызнувшихъ копій ослѣпительно прядали въ ночи темь изъ таинственнаго облака. И громы гремящихъ полчищъ оглушительно гремѣли мѣдью трубъ изъ плавучей обители.

Лучезарные, они молились на облачномъ выступѣ.

Брилліантовыя насѣкомыя надъ ними кружились изъ-за звякнувшей кадильницы.

Осыпанные жужжащимъ блескомъ искръ, они то прославляли Господа, то просили объ успеніи утомленной игуменьи.

Перловый гремящій ликъ то показывался вѣнцомъ изъ-за дымнаго алтаря, то изъ дымовъ взлетала десница съ кадиломъ.

Брилліантовыя жужжелицы, струей искръ змѣясь, возлетали, и змѣясь разсыпались въ волосахъ.

Перловый старикъ всталъ и вопрошалъ: «Кто тамъ зоветъ меня? Молодой мертвецъ упалъ и вопрошалъ: «Кто я, чтобы видѣть Тебя?»

Перловый старикъ шепотомъ возвѣстилъ: «Да будетъ тебѣ по желанію твоему!»

Громовый ревъ все огласилъ: «Да исполнится воля Твоя!»

Облакъ проплывалъ и бросалъ въ тѣнь горсти зарницъ.

Блѣдный день наплывалъ и гасилъ горсти созвѣздій.

И стаи брызнувшихъ стрекозъ ослѣпительной тучкой въ пространствахъ летѣли въ блѣднѣющей сини ночи: то стаи далекихъ ангеловъ испуганнымъ отрядомъ съ уступовъ тучи слетали въ загорѣвшейся ясной зарѣ.

Третья метельная ектенія.

Мертвецъ пришелъ въ обитель.

Яро проблисталъ его ликъ бѣлогромнымъ свѣтомъ.

Яро просвисталъ снѣжокъ изъ подъ ногъ миндальнымъ цвѣтомъ. Яро прозвучалъ его крикъ:

«Синева Господня побѣдила время».

Къ косящатому окну красавица прильнула, молясь на любимаго. Свою весну красавица встрѣчала, молясь на любимаго.

Руки на груди, томясь, рвали четки. Руки на груди сложилъ, томясь, онъ любимый, кроткій.

«Синева Господня побѣдила время!»

Вдругъ страстно пробила оконце; она пробила золотой воздухъ краснымъ токомъ цвѣтовъ надъ ясноочитымъ скуфейникомъ.

Вверхъ страстно уносила подъ солнце вьюга, уносила въ снѣговой воздухъ бѣлый токъ цвѣтовъ надъ ясноочитой игуменьей.

Попадали къ ногамъ его красные цвѣтики. Запрядали мимо личика ея бѣлые лепестки.

«Синева Господня побѣдила время!»

Ты пришелъ—неотцвѣтный цвѣтъ, ты облекся кружевомъ снѣжныхъ ризъ: глаза твои — метель, просквозившая небомъ.

Тебя родила метель: дай намъ метель, дай, дай, дай намъ метель бѣлую, метель ревучую, метель—летучую метель, свистучую, ибо ты изъ вьюги вышелъ.

Вьюгѣ помолимся!

Здравствуй, здравствуй бѣлая пчела изъ метельнаго улея летящая къ намъ о счастьѣ жужжать сладкій медъ отъ сотъ, отъ сердецъ собирать.

Ты, счастье, бѣлый, медовый, восковой!

Гласомъ пчелинымъ намъ обѣдню прожужжи!

Ты насъ помилуй!

Блѣдно-мраморный ликъ рясофорной красавицы съ четками въ рукахъ выросталъ всюду за скуфейникомъ. Громкій радост-

ный крикъ метели — плясавицы въ оснѣженыхъ поляхъ выросталъ гласомъ свирѣпымъ надъ ельникомъ.

Метель протягивала всѣмъ въ обители свои бѣлыя объятія, бѣлой солью впивалась имъ въ очи, будя печали; распадалась птицами, ложилась подъ его ноги.

Игуменья протягивала ему свои объятія, жгучей болью впивалась очами изъ-подъ вуали, темной, какъ темень ночи. Но онъ закрывалъ глаза рѣсницами, желанный и строгій.

Когда онъ проходилъ мимо нея, она прыгнула къ нему, точно черная колдунья съ гвоздикой въ рукахъ. Когда небосклонъ озарила солнечная змѣя, метель прыгнула, вознесла свою тьму дико, дико, точно рясофорная летунья въ далекихъ поляхъ.

Губы странника нѣмѣли чуть видной сладостью, но скрылъ лицо въ нея обращенными ладонями, защищаясь отъ гвоздикъ.

Трубы метели гремѣли громовой радостью, и солнечное кольцо укрыло свой пылъ.

О пчелѣ пчела, о душѣ душа, о зарѣ заря—жужжатъ, пекутся, яснятся.

Пчелы, пчелы:

нынѣ вы—пчелы.

Вы пчелинаго царя въ улей ведите.

Роитесь, роитесь: скоро вылетитъ бѣлый царь на крыльяхъ золотыхъ изъ улья съ жужжаньемъ.

За нимъ, братія пчелиная, летайте, на брань съ осами летайте, языками-жалами мерцайте въ душахъ темныхъ.

Вотъ съ вами вашъ—съ зарей заря, съ душой душа, съ пчелой пчела.

Приди къ намъ, пчела наша!

Въ кельѣ игуменья раздѣвалась. Подъ окномъ метель шепталась.

Шелестѣлъ бѣлый снѣговый челнъ, уплывая въ солнечный градъ вдоль снѣговыхъ волнъ; уплывалъ онъ туда,—гдѣ горящій кругъ.

Шелестъ черныхъ шелковыхъ волнъ—водопадъ ниспадающихъ рясъ, возникалъ отъ пляски ея обнаженныхъ рукъ.

Въ кельѣ игуменья раздѣвалась. Подъ окномъ метель шепталась.

Красная лампадочка озаряла клобучекъ, оплетенный цвѣтами, сквозной батистъ окурившій ея знойную грудь. Вьюжная пляска заметела обитель своими шелками.

Игуменья расплела шелковыя ткани кудрей, одѣла серебристый клобукъ, обвила себя атласомъ лилейнымъ, собираясь къ нему на встрѣчу.

Буря мела пурговыя ткани; въ серебрѣ рыданій ея восходилъ лучистый кругъ. Звала гласомъ вѣйнымъ: «Люблю тебя, почему—не отвѣчу?»

Въ тебѣ, снѣгъ — поцѣлуй, въ тебѣ — вѣтряный смѣхъ — любовныя рѣчи.

Блескомъ, свистомъ, пляской, ризой кружевной—ризой на насъ нисходишь.

Снѣговымъ причастіемъ, бѣлымъ хладнымъ огнемъ — провѣй, одари.

И пропоютъ снѣговые псалмы на метельной обѣднѣ.

Вьюгѣ помолимся.

Пурпуръ сердецъ виномъ снѣжнымъ вскипаетъ, приступите.

Причащайтесь пѣнѣ снѣжной, пѣну бѣлую вкусите.

Пѣной бѣлой, кружевной, облекайтесь: лики ваши—снѣги, губы ваши—пурпуръ, ваши очи—небо.

Снѣги къ снѣгамъ, небо къ небу, зори къ зорямъ!

Се, надъ вами серебряный вѣнецъ метелей—се надъ вами брачный вѣнецъ.

Вьюгѣ помолимся.

Встрѣча.

Надъ обителью раздавался свистъ вѣтерка и грустно знакомый вьюжный шелестъ.

И въ блѣдную, блѣдную бирюзу ушли снѣжныя рясы. Показался силуэтъ игуменьи съ золотою свѣчей, и вотъ она, бѣлая невѣста, пошла въ ледяныя поля на призывный звонъ вьюги.

Надъ ея головою потрескивала зубчатая корона огня.

Съ вознесенной въ рукахъ свѣчей она пала подъ сквознымъ золотомъ солнечныхъ листьевъ:

«Довольно:—

«намъ вольно: намъ отъ радости больно.

«Къ намъ, ахъ, къ намъ ты спѣшишь, въ лучахъ тая.

«Во снѣговыхъ поляхъ, жемчуговыхъ эта тишь золотая».

И въ блѣдную, блѣдную бирюзу онъ шелъ пламеноснымъ ликомъ. И въ блѣдную, блѣдную бирюзу метель рвалась вихреноснымъ крикомъ. И въ блѣдную, блѣдную бирюзу онъ шелъ пламеноснымъ ликомъ.

Онъ... Нѣтъ, не онъ.

Въ ледяной, столбный фонарь било солнце, и онъ обратилъ въ монастырь взглядъ стеклянный. Вихряной столбъ, какъ и встарь, метель взвила, и онъ закрутилъ свою пыль, осіянный.

И въ блѣдную, блѣдную бирюзу волна метельнаго цвѣта продышала хлопьями пуха.

Какъ большой одуванчикъ взошла метель, изорванная предвесеннимъ денькомъ.

Игуменья начертала въ поляхъ пламеноснаго змѣя искрянымъ зубцомъ свѣчи.

Змѣй поползъ: это дорожкою колкихъ пчелокъ ползли на обитель предтекущіе свѣтоносцы.

Сіяющими жалами текли братья свѣта.

Въ отдаленіи несли золотой гробъ съ мертвецомъ.

Бѣлая, атласная красавица вся въ пурпуровомъ цвѣтѣ стояла съ иконой въ рукахъ.

Протянула гробу икону и цвѣтъ.

И сталъ воскресшій изъ гроба: отъ лица его стекало солнце.

Они коснулись другъ друга бархатомъ глазъ и будто ушли въ знакомый, изсиня синій колодезь.

Кадила разсыпали на снѣгъ красныя змѣи.

Червонные, святые потиры выносили въ поля; и въ нихъ сверкали изъ-за тучъ яркіе уголья. Но уголья прорастали цвѣтомъ.

Ѣдкій медъ потирнаго цвѣта матовой истомой овощалъ ихъ лица и хоръ пѣлъ:

«Онъ не безперемѣненъ: онъ уходитъ въ безвременье — въ блѣдную, блѣдную бирюзу.

«У него есть крылья скрываться отъ насъ.

«Но это не значитъ, что онъ не съ нами.

«Онъ встаетъ среди насъ: метельной струей бьетъ въ лазурный кубокъ.

«Когда переполнится кубокъ метелей, онъ опрокидывается на насъ снѣгомъ.

«Возвращается... возвращается».

Игуменья вела странника въ алтарь, а сама стала у входа.

«Ты гряди, іерей, изъ блистанья сотканный, женихъ, изъ свѣщнаго дѣйства въ поляхъ рожденный.

«Ты, женихъ, гряди изъ далекой страны загробной облекать меня любовью и солнцемъ.

«Твои ризы изъ пѣнныхъ блистаній, и омоемся блескомъ.

«Твоимъ, іерей, твоимъ блескомъ!

«Мы возьмемъ колосья блистаній, перевьемъ станъ нашъ колосомъ, колосомъ, солнечнымъ колосомъ!

«Колосись въ души наши!

«Ибо мы — твои, твои мы нивы: нивы, нивы, созрѣвшія нивы!

«Твои, жнецъ, нивы».

Змѣй поверженъ.

Подъ амвономъ волновалось море клобуковъ.

Она стояла съ благовоннымъ мvромъ.

Выросъ силуэтъ іерея съ просвѣтленнымъ, жемчужнымъ лицомъ.

Солнечныя кудри и чуть двоящаяся улыбка свѣтились на вечерней зарѣ.

«Милый, опять ты, опять!»

Это былъ онъ, ея смутный сонъ.

Онъ стоялъ, точно сотканный изъ воздуха.

Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

У ногъ его замирали, осыпанныя будто угольями, святыми пчелами кадила. .

Двѣ пчелы запутались въ волосахъ солнечной жены, когда надъ ней подъялъ свои руки и голосомъ, вздоху подобнымъ, призывно звалъ отъ времени:

«Довольно:

«Скоро все облетитъ—пролетитъ.

«Времена засохли, шелестятъ, какъ свитокъ.

«Времена, какъ и свитокъ, свиваются.

«Пора,

«потому что все пролетитъ, и мы будемъ вмѣстѣ.

«Потому что вотъ пришелъ взывать воскресеній о воскресеніи!»

Она

Ты, іерей,—парчевый цвѣтъ, весь, какъ изъ снѣга!

Онъ

Ты, жена, невѣста—лебедь моя.

Они

Мы подъ куполомъ, опрокинутомъ надъ нами.

Бѣлымъ ораремъ оплелъ ея станъ, и заревѣлъ хоръ съ клироса, призывая къ ектеніѣ:

«Вьюгѣ помолимся!»

Двери храма разорвались. Тамъ наплывалъ епископъ въ горящихъ ризахъ, какъ большой красный драконъ.

На блѣдной, блѣдной бирюзѣ храмовой живописи за нимъ тянулись свѣщные огоньки, точно гребни чешуй золотыхъ ползучаго гада.

За нимъ повалили черныя толпы хмурыхъ монаховъ, издавна враждовавшихъ съ обителью.

Кучка вѣрныхъ монахинь, молясь у амвона, горящими свѣчами заграждая дракону путь, чертила на немъ свѣщные знаки крестовъ, и свѣчи, какъ мечи, яро лизали воздухъ.

Красныя горсти шмелей, свѣтовымъ роемъ молитвенныхъ заклинаній, садились жалами въ темную толпу.

Забряцавшія оболоками золотыя кадила, словно бѣлыми кольцами охватили епископа, и въ бирюзовый пролетъ сверкала его митра.

Исполненная духомъ, жена вышла на амвонъ, и глядѣла въ жуть воздушной стремнины, то задернутой дымомъ, то зіявшей точно щучья морда уставилась на нее, вѣнчанная златомъ—и вотъ змѣй посохомъ ей проблисталъ.

Точно жало молніи рѣзнуло кадильное облако—и вотъ она узнала того, кого убила духомъ.

Время — епископъ, ризы влекущія въ храмъ — шло на амвонъ, гдѣ она вознеслась надъ нимъ.

Она стояла надъ епископомъ съ крестомъ и съ пурпуровымъ цвѣтомъ.

Іерея изъ алтаря вызывала, кадильныя оболоки въ вѣнценоснаго змѣя метала.

Оболоки—молитвы, рожденныя духомъ, бѣлыми каменьями полетѣли въ старину.

И дробились сіяющей митрой.

Крестъ въ рукѣ блиставшій сжимала, блески крестомъ метала.

Старый епископъ изогнулся.

Провалился храмъ, грохотавшій народомъ, когда бѣлыя, кадильныя облака, загородили къ амвону путь.

Старикъ поплылъ вверхъ по ступенямъ, словно межъ дымовыхъ куполовъ, то ныряя, то выплывая митрой.

Надъ нимъ повисло облако кадила, и онъ посохомъ, какъ молоньей его изорвалъ.

И когда золотой змѣй вползалъ на амвонъ, изъ царскихъ вратъ показался іерей, точно сотканный изъ воздуха.

Онъ стоялъ съ разведенными руками въ сквозномъ золотѣ ладанныхъ тучъ.

Его голова впередъ упавшая изъ-за плечъ жены, свѣтовой кругъ надъ лицомъ, въ рукахъ дикирія страшный свѣтъ и змѣю грозящая десница—пятиомъ бурнаго свѣта пролились надъ женой.

Все подъ оболока громыхало, черной ратью вставало.

И рекъ чудотворный странникъ женѣ, указуя дикиріемъ на то же, все на то же:

«Гадъ къ намъ ползетъ. На насъ воздвигается, просится: пора оковать твою, жена, чистоту, змѣинымъ кольцомъ возврата.

«Ты была окована землей. Нынѣ ты вѣрна небу.

«Пора намъ испить любви, поразить змѣя, уйти въ солнечную обитель».

И уста дракона разорвались темнымъ воплемъ.

Брызнулъ жезломъ и разодралъ на женѣ ризу.

Онъ видѣлъ — солнце, облеченное блескомъ, тихо изъ-за оболока опрокинулось надъ нимъ, и свѣтоносный, осьмиконечный лучъ креста рѣзнулъ пространство.

То не солнце—жена, обтекающая свѣтомъ и оболокомъ, яро надъ нимъ замахнулась крестомъ.

Изъ сумеречной бирюзы предъ ней стояло прошедшее въ митрѣ, словно золотое насѣкомое.

Ризы на немъ висѣли, какъ сухія перепонки.

Когда крестъ на митру упалъ, окровавился хрустнувшій черепъ.

Когда глухо рухнуло тѣло, корчась змѣиными кольцами, митра покатилась золотымъ колесомъ.

Когда повергся драконъ, кучка монахинь возопила гласомъ великимъ: «Жена сокрушила главу змѣю».

Только снѣгъ, только вѣтеръ!

Вскипѣла пурга.

Перловый ликъ въ благолѣпномъ пламени ризъ метнулся изъ алтаря: кусокъ матоваго стекла, захрустѣвъ, вылетѣлъ изъ окна, прозвенѣлъ и разбился.

Милое, милое небо сіяло—милая, милая гробная лазурь.

Бѣлый серпъ глубоко такъ звалъ въ голубыхъ океанахъ истомы и едва, едва мерцали тамъ звѣзды.

И ихъ ризы струились метелями, когда туда они устремились.

Серебряными своими клобуками лукаво изъ волнъ бѣлопурговыхъ всплывали, какъ дѣти; какъ дѣти безумно хохотали безумно, восходя,—

выше, выше—

прошли: за ними, подъ ними, вкругъ нихъ муаромъ снѣ-

жились свиставшія мантіи, будто лепестки закачавшихся въ воздухѣ лилій, окуривающихъ бѣлымъ дымомъ, свистомъ, блескомъ, ароматомъ предвесеннимъ.

Выше, выше—

прошли: изъ-подъ облака ризъ, какъ изъ оболока дней опрокинулись въ прошлое—вотъ указалъ ей лазури глубокой истомы въ воздухѣ, склонился надъ ней у этихъ колодцевъ,

склонился сверкающей шапкой и всѣмъ своимъ тѣломъ сквознымъ, проблиставъ ей въ лицо биллiонами алмазовъ, застывшихъ алмазовъ, океанами слезинокъ, взметенныхъ пургой.

Устами, жгучими, какъ слезинки, устъ ея мертвѣющихъ коснулся.

Ахъ, да нѣтъ:

то не была мать игуменья: то его родная сестра, его грустная дѣточка, струившая въ подоблачную старину снѣжные хлопья.

Слезы, слезы—ея слезы: слезы дѣточки, павшей въ снѣжную колыбельку,

слезы радости,—

ей наполнили колыбель: хлынули чистыми хрусталями надъ трезвономъ ревѣвшей обителью.

Изогнулась слѣпительнымъ станомъ въ закипѣвшемъ пѣною морѣ, а хладные ея пальцы—края перистой тучки—въ сьерканьи лучей оборвали съ неба хрустальный осколокъ мѣсяца.

И изъ этой чаши онъ испилъ ея любовь.

Они испивали стариный, старинный напитокъ къ намъ

взывающаго томленія съ пургой намъ въ грудь дохнувшей любови, запѣвавшей о томъ же,—

какъ и встарь—

испивали, будто ту же метель и все тотъ же мѣсяцъ—

и ихъ знакомыя до ужаса, будто съ дѣтства снящіяся лица, будто той же взметанныя вьюгой, и той же вскипѣвшей пѣной—эти лица клонились къ смертной разгадкѣ, воздвигающей и метель, и мѣсяцъ, и воздушную отнынѣ и до вѣка киновію.

Красный храмъ и красныя стѣны обители вдали, вдали облеченныя блескомъ, сверкали тамъ подъ оболокомъ,

сверкали и уплывали.

То не обитель: старое, красное солнце, обреченное смерти, уплыло въ облака,

сверкало и уплывало.

И не оно—образъ міра—ускользало изъ-подъ ихъ ногъ,—не оно: нѣтъ, они что уплывали метельной, разбрызганной пѣной.

Что-то ей запѣвало: «Я умчу тебя въ поднебесную высоту; ты проснулась теперь и ты знаешь».

«Вспомни, ахъ вспомни: это я, это я.

«Я—вѣтеръ!»

И вѣтеръ несъ ея будто снившимся гдѣ-то образомъ, будто ее полюбившимъ странникомъ, будто стариннымъ, стариннымъ въ безкрайнюю высь улетающимъ томленіемъ.

И она была—только снѣгъ, только снѣгъ.

Вѣтеръ пролетѣлъ; снѣгомъ она взметнулась, и они вознеслись пургой.

Чудо.

Бѣлый рукавъ поднимался вдоль стѣны. А за нимъ выросталъ ужъ другой.

Бѣлый рукавъ, сочась надъ могилой, неизмѣнно выросталъ. Лизалъ гробовую плиту.

И ускользалъ.

Надъ гробами надулись бѣлые паруса.

Надъ гробами летѣли воздушные корабли.

Бѣлокрылые летуны уносились сквозь время... на родину. На неизвѣстную родину.

Безвластно истаяли клубы ладана. Смущенно всталъ на ступеняхъ спотнувшійся епископъ.

И сутулыя старицы, и красавицы, юницы, отроковицы, вдовы, черныя, бѣлоликія, розовоустыя собирались къ царскимъ вратамъ за игуменьей, за странникомъ.

Чѣмъ тревожнѣй пьяныя духомъ сестры искали бѣглецовъ—и епископъ, и сутулыя старицы, и красавицы, юницы, отроковицы, вдовы черныя, бѣлоликія, розовоустыя, тѣмъ властнѣе всталъ на амвонъ старецъ, указуя на царскія врата:

«О томъ, что было отъ начала, что мы слышали, что видѣли своими очами, что осязали—о словѣ жизни».

«О томъ возвѣщаю вамъ».

«Не ищите вы мертвыхъ: не найдете воскресшихъ и вознесенныхъ».

«Какъ нынѣ вознеслись они, будемъ и мы возноситься, потому что и мы—дѣти».

Въ открытыхъ царскихъ дверяхъ съ матово-свѣтлаго стекла на всѣхъ уставился ясноочитый ликъ.

Кротко яснѣлъ онъ синевою глазъ и спѣлымъ колосомъ бородки среди богомольныхъ выкликаній.

Красными своими тканями, будто языками огней, раскидались надъ сестрами его перловыя руки.

Отнынѣ серебряный ликъ склоненной жены впаялся въ стекло; склонясь, проливала жена елей на его жемчуговыя ноги, утирала ихъ янтарнымъ златомъ волосъ.

Сквозной лебедь въ окнѣ тамъ поплылъ надъ хрустальнымъ ледкомъ.

А за нимъ пролеталъ и другой.

Бѣлый лебедь, сочась снѣгомъ, взлеталъ, чтобы бить въ стекла пурговымъ крыломъ.

Бросался въ высь.

Въ небо бросались тучи лебедей. Бѣлокрылые летуны уносились сквозь время.

Черныя, черныя старицы, чуду преклонясь рогами свѣщныхъ огней, пляшущихъ надъ клобукомъ, хвостами прошушукали вдоль амвона, и оторванные рои искръ, будто красныя пчелы, уползающія въ ѳиміамъ, и чела ихъ кровью гвоздикъ оплетенныя, и пламена восковыхъ копій, все въ нихъ являло одно, навѣкъ одно, когда чинно текли онѣ старѣющими ликами, бархатными клобуками и огнями.

Вотъ поднималась метель, какъ воздушная, бѣлая игуменья, изогнулась атласнымъ станомъ подъ окномъ, а хладные ея пальцы въ стрекотаньѣ ледяныхъ четокъ плеснули серебряной волной муаровой мантіи, точно засвиставшими въ

небо крыльями: такъ она тянулась къ окну; изъ-подъ ея рѣсницъ нѣжно взирали пустыя небеса, нѣжно; руками точно терзала алмазы шелковыхъ своихъ ризъ, разорванныхъ блѣдными клочьями; а зовъ слеталъ съ ея устъ восторженнымъ стенаньемъ.

Многокрестное кладбище, терзаемое порывомъ, страстнымъ гласомъ стенало, въ любовной ширило пытѣ свои лампады—огневыя, янтарныя очи—пурговыми лопастями свѣиваясь, точно въ часъ брачной свѣивалась фата, истерзанная невѣстой; оно потрясало руками — десятками крестовъ—къ Нему тянулось старинным томленіемъ.

Петровское. 1907 года.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Посвященіе V
Вмѣсто предисловія. 1
Часть I. Снѣжная лапа 7
Часть II. Сквозные лики. 63
Часть III. Волненія страсти. 123
Часть IV. Гробная лазурь 181

[232]

КНИГИ АНДРЕЯ БѢЛАГО:

Сѣверная Симфонія (1-ая героическая). К-во „Скорпіонъ". М. 1903. Ц. 1 р.

Драматическая Симфонія (2-ая). К-во „Скорпіонъ". М. 1902. Распродана.

Возвратъ (3-ья симфонія). К-во „Грифъ". М. 1904. Ц. 1 р.

Кубокъ Метелей. (4-ая симфонія). К-во „Скорпіонъ". М. 1908.

Золото въ Лазури. Первая книга стиховъ. К-во „Скорпіонъ". М. 1904. Ц. 2 р.

ВѢСЫ

СКОРПІОНЪ

ТИПОГРАФІЯ О-ВА РАСПР. ПОЛЕЗН. КНИГЪ, АРЕНД. В. Н. ВОРОНОВЫМЪ, МОХОВАЯ, Д. КН. ГАГАРИНА.

ВѢСЫ

ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

1908. Годъ изданія пятый. 1908.

Журналъ „Вѣсы“ посвященъ искусству въ широкомъ смыслѣ этого слова, понимая подъ нимъ—литературу, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и театръ.

Видя въ искусствѣ одно изъ высшихъ проявленій культурной жизни, „Вѣсы“ не могутъ не быть сторонниками всѣхъ культурныхъ начинаній. Напротивъ, „Вѣсы“ считаютъ своимъ долгомъ возставать, какъ противъ всѣхъ явленій, враждебныхъ свободному развитію духовной жизни, такъ и противъ всякаго варварства, посягающаго на культурныя цѣнности. Полагая идею культуры неотдѣлимой отъ идеи преемственности, „Вѣсы“ хотятъ соединить исканія новаго съ уваженіемъ и любовью къ прошлому,—что невозможно безъ серьезнаго и глубокаго знакомства съ нимъ.

Въ наши дни самостоятельное значеніе искусства можетъ считаться общепризнаннымъ и прежніе взгляды на него, открыто ставившіе его въ подчиненное положеніе передъ общественностью, наукою, религіей и т. под., уже не требуютъ опроверженія. Точно также можетъ считаться общепризнаннымъ и такъ называемое „новое искусство“, которое, въ сущности, является единственнымъ искусствомъ нашего времени. Однако, устарѣлыя сужденія нерѣдко

появляются въ литературѣ вновь, подъ какой-нибудь личиной, а вниманіе, проявленное обществомъ къ „новому искусству", привлекло въ ряды его дѣятелей не мало лицъ, къ тому совершенно не призванныхъ. „Вѣсы" ставятъ себѣ, какъ прямую цѣль, — провѣсти разграничительную черту между истиннымъ искусствомъ и лже-искусствомъ, между творчествомъ настоящихъ художниковъ нашихъ дней и художниковъ-самозванцевъ.

„Вѣсы" въ своемъ литературномъ отдѣлѣ даютъ только произведенія чисто-художественныя, отвергая всякое полу-искусство, всѣ созданія, въ которыхъ художественность является лишь средствомъ, а въ рядѣ критическихъ статей и библіографическихъ замѣтокъ оцѣниваютъ со своей точки зрѣнія всѣ сколько-нибудь выдающіяся явленія литературы, русской и иностранной. Въ беллетристическомъ отдѣлѣ „Вѣсовъ" принимаютъ участіе какъ та группа писателей, которая въ теченіе восьми лѣтъ образовалась вокругъ книгоиздательства „Скорпіонъ" и занимаетъ въ современной литературѣ достаточно опредѣленное положеніе, такъ и многіе дѣятели другихъ литературныхъ группъ, причемъ этотъ кругъ постоянно пополняется молодыми силами. Въ критическомъ отдѣлѣ, кромѣ русскихъ писателей, приглашены къ участію дѣятели литературъ французской, нѣмецкой, англійской, итальянской, скандинавской, польской и др., благодаря чему „Вѣсы" могутъ знакомить читателей со всѣми теченіями художественной жизни Европы одновременно съ западно-европейскими изданіями. Въ наиболѣе значительныхъ городахъ Европы, въ Парижѣ, Лондонѣ, Оксфордѣ, Берлинѣ, Мюнхенѣ, Вѣнѣ, Римѣ, Флоренціи, Аѳинахъ, у „Вѣсовъ" есть свои корреспонденты.

Въ художественномъ отдѣлѣ „Вѣсы" даютъ преимущественно воспроизведенія р и с у н к о в ъ, однотонныхъ и красочныхъ, русскихъ и иностранныхъ художниковъ. „Вѣсы" стремятся къ тому, чтобы помѣщаемые рисунки по возможности точно, fac-simile, воспроизводили оригиналъ. Въ каждомъ № „Вѣсы" даютъ отъ одной до четырехъ репродукцій на отдѣльныхъ листахъ, исполненныхъ гравюрой, хромо-литографіей, фототипіей, цвѣтной автотипіей и др. способами печатанія. Всѣ рисунки въ „Вѣсахъ" 1908 г. будутъ воспроизведены съ п о д л и н н и к о в ъ, принадлежащихъ редакціи или предоставленныхъ въ ея распоряженіе авторомъ.

„Вѣсы" печатаются на лучшей бумагѣ верже, спеціально изготовленной для этого изданія, и выходятъ ежемѣсячно (12 №№ въ годъ) книжками около 100 страницъ.

Программа „Вѣсовъ“ обнимаетъ:

1. Стихи, повѣсти, разсказы, романы, сказки, драматическія произведенія, оригинальныя и переводныя.
2. Руководящія статьи по всѣмъ вопросамъ литературы и искусствъ; біографіи и критическія характеристики писателей, художниковъ и композиторовъ.
3. Критическія и библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ, появляющихся на языкахъ: русскомъ, польскомъ, чешскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ, итальянскомъ, испанскомъ, норвежскомъ, шведскомъ, греческомъ и др. Обзоръ журналовъ, русскихъ и иностранныхъ.
4. Критическіе обзоры художественныхъ выставокъ, театральныхъ и музыкальныхъ исполненій въ Россіи и за-границей.
5. Хроника литературы и искусствъ.
6. Рисунки художниковъ, русскихъ и иностранныхъ.

Въ „Вѣсахъ“ принимаютъ участіе:

Общій отдѣлъ: Ю. Айхенвальдъ, С. Ауслендеръ, Ю. Балтрушайтисъ, К. Бальмонтъ, А. Блокъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Бѣлый, Эмиль Верхарнъ, Ю. Верховскій, М. Волошинъ, З. Гиппіусъ, С. Городецкій, В. Гофманъ, Н. Гумилевъ, проф. Ѳ. Зѣлинскій, Вяч. Ивановъ, А. Кондратьевъ, А. Курсинскій, М. Кузминъ, Д. Мережковскій, Н. Минскій, Одинокій, Ст. Пшибышевскій, А. Ремизовъ, В. Розановъ, Иванъ Рукавишниковъ, Б. Садовской, С. Соловьевъ, Ѳ. Сологубъ, Евг. Тарасовъ, К. Чуковскій, Эллисъ.

Библіографическій отдѣлъ: Аврелій, В. Бакулинъ, И. Бороздинъ, С. Ещбоевъ, В. Каллашъ, Антонъ Крайній, Н. Лернеръ, М. Ликіардопуло, Н. Петровская, Петръ Пильскій, проф. М. Ростовцевъ, В. Саводникъ, В. Станюковичъ, проф. Б. Тураевъ, А. Ященко.

Отдѣлъ искусствъ: Лорансъ Виньонъ, Игорь Грабарь, М. Кальвакоресси, Вс. Мейерхольдъ, С. Рафаловичъ, Альдо де-Ринальдисъ, А. Ростиславовъ, П. Эттингеръ.

Французская литература: Ренэ Арко, Ренэ Гиль, Реми де-Гурмонъ, Жанъ де-Гурмонъ, Эсперъ-Вальдоръ (А. Мерсеро).

Нѣмецкая литература: В. Гофманъ, А. Лютеръ, М. Шикъ, А. Эліасбергъ

Англійская литература: Осбертъ Бёрдетъ, Лордъ Альфредъ Дёгласъ, В. Морфилъ, С. Мэзонъ, Робертъ Россъ, А. Симонсъ Моръ-Эди.

Итальянская литература: Дж. Амендола, Ф. Джолли, Дж. Папини, Энрико Р.

Скандинавскія литературы: Ю. Балтрушайтисъ, А. Іенсенъ, Дагни Кристенсенъ, С. Поляковъ.

Славянскія литературы: В. Маковскій, И. Карасикъ, Г. Касперовичъ.

Греческая литература: М. Ликіардопуло, П. Нирванасъ.

Латышская литература: В. Эглитсъ.

Художники: А. Араповъ, Л. Бакстъ, В. Дриттенпрейсъ, Оскаръ Гиліа, Е. Инго, Карлъ Вальзеръ, Р. Костетти, Фр. Кристофъ, Павелъ Кузнецовъ, Мельхіоръ Лехтеръ, Николай Миліоти, Н. Рерихъ, А. де-Каролисъ, Тео ванъ-Риссельбергъ, Н. Сапуновъ, А. Силинъ, К. Сомовъ, Т. Стерджъ-Муръ, С. Судейкинъ, Фидусъ, М. Шестеркинъ, Н. Ѳеофилактовъ.

Въ распоряженіи редакціи для беллетристическаго отдѣла 1908 г., между прочимъ, имѣется:

Валерій Брюсовъ. Огненный Ангелъ. Повѣсть изъ нѣмецкой жизни XVI в. Часть II-я (главы XI—XVI).

Валерій Брюсовъ. Женщина съ бичомъ. Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ, изъ итальянской жизни VI вѣка.

Валерій Брюсовъ. Обреченный. Циклъ стихотвореній.

Андрей Бѣлый. Серебряный Голубь. Повѣсть изъ современной жизни.

К. Бальмонтъ. Пляска зноя. Циклъ стиховъ.

Ѳедоръ Сологубъ. Сладкая борьба. Разсказъ.

М. Кузминъ. Рѣшеніе Анны Мейеръ. Разсказъ.

М. Кузминъ. Куранты любви. Лирическая поэма.

М. Кузминъ. Ракета. Циклъ стихотвореній.

Александръ Блокъ. Сказки.

Александръ Блокъ. Заклятіе огнемъ и мракомъ и пляской метелей. Поэма.

Неизданные стихи А. Пушкина и Е. Баратынскаго.

Новые стихи: З. Гиппіусъ, Ѳ. Сологуба, Андрея Бѣлаго, Вяч. Иванова и др.

Для отдѣла статей:

Д. С. Мережковскій. О Лермонтовѣ. Критическое изслѣдованіе.

К. Бальмонтъ. О польскихъ преданіяхъ. Статья.

Андрей Бѣлый. Трилогія Мережковскаго. Критическій очеркъ.

Андрей Бѣлый. Символизмъ въ современномъ русскомъ искусствѣ. Публичная лекція.

Оскаръ Уайльдъ. De Profundis. Неизданные отрывки записокъ изъ Рэдингской тюрьмы. Авторизованный переводъ съ рукописи.

Оскаръ Уайльдъ. Неизданныя письма. Авторизованный переводъ съ подлинниковъ.

Робертъ Россъ. Воспоминанія о послѣднихъ годахъ жизни Оскара Уайльда.

Ренэ Гиль. Французская поэзія въ 1907 г.

А. Эліасбергъ. Франкъ Ведекиндъ, Людвигъ Шарфъ, Рихардъ Шаукаль. Статьи.

Максиміанъ Шикъ. Поэзія Стефана Георге. Статья.

В. Бакулинъ. „Трагизмъ" и „легкость". Наблюденія надъ литературой нашихъ дней.

Для художественнаго отдѣла:

Н. Ѳеофилактовъ. Ложь. Трехцвѣтная автотипія.

Н. Ѳеофилактовъ. Водоемъ. Фототипія.

К. Сомовъ. Cor Ardens. Хромо-литографія.

А. Силинъ. Самоубійца.

Карлъ Вальзеръ. Savignyplatz. Въ двѣ краски.

Фр. Кристофъ. Рогъ изобилія.

Мельхіоръ Лехтеръ. Рисунокъ.

Дж. Гекстеръ. Портретъ Г. фонъ-Гофмансталя.

Оскаръ Гиліа. Гермафродитъ.

Новые годовые подписчики 1908 г. (не имѣющіе „Вѣсовъ" за 1907 г.), внесшіе полностью подписныя деньги до 15 февраля, могутъ получить безплатно:

Валерій Брюсовъ. Огненный Ангелъ. Повѣсть изъ нѣмецкой жизни XVI в. Часть I. (Главы I—X). М. 1908 г.

Вторая часть этой повѣсти (главы XI—XVI) будетъ напечатана въ „Вѣсахъ" 1908 г. Пересылка этой книги на счетъ заказчика по дѣйствительной стоимости и деньги за ея пересылку просятъ прилагать при подпискѣ. Въ противномъ случаѣ стоимость пересылки будетъ взыскана наложеннымъ платежемъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЪ „ВѢСЫ“.

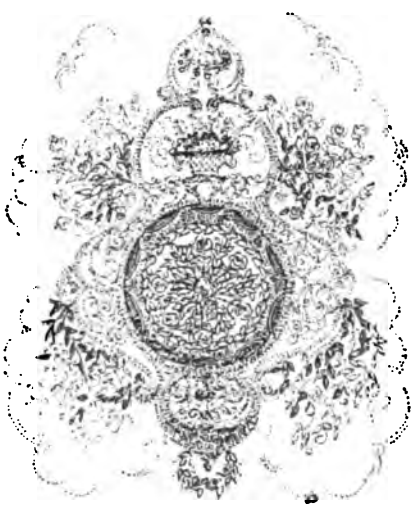
Въ Россіи на годъ (12 №№) пять рублей съ пересылкой; на полгода три рубля съ пересылкой. За-границу семь рублей (18 фр).

Всѣ подписчики „Вѣсовъ“ на 1908 годъ пользуются: при выпискѣ изъ редакціи изданій к-ва „Скорпіонъ“ и к-ва „Оры“—скидкой отъ 15 до 50%.

Подписка на „Вѣсы“ принимается: 1) въ Москвѣ, въ главной конторѣ журнала,—Театральная площадь, домъ Метрополь, кв. 23, книгоиздательство „Скорпіонъ“; 2) въ С.-Петербургѣ, въ отдѣленіи конторы—Садовая, 18, книжный складъ „Комиссіонеръ“; 3) въ Кіевѣ—въ магазинѣ Л. Идзиковскаго, Крещатикъ, 29; 4) въ Берлинѣ—у Edm. Meyer, Buchhandl, Berlin W., Potsdamerstrasse 24 в; 5) во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С.-Петербурга и провинціи.

Гг. иногороднимъ во избѣжаніе различныхъ недоразумѣній предлагается присылать подписныя деньги непосредственно въ главную контору журнала.

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.



Цѣль книгоиздательства „Скорпіонъ“—знакомить съ новыми теченіями въ русской и европейской литературѣ. Значительную долю вниманія удѣляетъ книгоиздательство внѣшности книгъ, заботясь, чтобы она стояла въ строгомъ соотвѣтствіи съ содержаніемъ. Обложки книгъ, выпущенныхъ к-вомъ „Скорпіонъ“, большей частью исполнены выдающимися художниками и представляютъ самостоятельный художественный интересъ.

Подписчики „Вѣсовъ“ пользуются при выпискѣ черезъ редакцію изданій к-ва „Скорпіонъ“ и к-ва „Оры“ скидкой отъ 15 до 50% при пересылкѣ за счетъ книгоиздательства. Въ настоящемъ каталогѣ, послѣ продажной цѣны изданія, въ скобкахъ указана его цѣна для подписчиковъ „Вѣсовъ“. Изданія, при которыхъ уменьшенная цѣна не обозначена, остались на складѣ въ небольшомъ количествѣ и на нихъ скидка не можетъ быть сдѣлана.

Всѣ, выписывающіе непосредственно изъ склада, пользуются пересылкою за счетъ книгоиздательства. Деньги, причитающіяся за заказываемыя изданія, просятъ высылать впередъ—при заказѣ. При выпискѣ наложеннымъ платежомъ расходы по наложенію платежа принимаютъ на себя гг. заказчики. Провинціальные книжные магазины, при наличномъ расчетѣ, пользуются уступкой въ 30%, но должны принимать на себя расходы по пересылкѣ книгъ.

Адресъ конторы книгоиздательства „Скорпіонъ“ и редакціи журнала „Вѣсы“: **Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23** (телефонъ 50—89). Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 11 ч. дня до 6 ч. вечера. Отдѣленіе конторы: **Петербургъ, Садовая, 18**, книжный складъ „Комиссіонеръ“. Изданія к-ва „Скорпіонъ“ можно также получать въ книжномъ складѣ „Складчина“, **Петербургъ, Екатерининская, 4.**

КАТАЛОГЪ КЪ ЯНВАРЮ 1908 г.

I. СТИХИ.

Ю. Балтрушайтисъ. Жатва дня. Печатается.

К. Д. Бальмонтъ. Полное собраніе стиховъ.
Томъ I. („Подъ Сѣвернымъ Небомъ". „Въ безбрежности". „Тишина"). М. 1905 г. Ц. 2 р. (1 р. 70 к.).
Томъ II. („Горящія зданія". „Будемъ какъ солнце"). М. 1904 г. Ц. 3 р. (2 р. 55 к.).

К. Д. Бальмонтъ. Жаръ-Птица. Свирѣль славянина. Обложка К. Сомова (хромолитографія). М. 1907 г. Ц. 2 р. (1 р. 70 к.).

Александръ Блокъ. Нечаянная Радость. Второй сборникъ стиховъ. М. 1907 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

Валерій Брюсовъ. Stephanos. Вѣнокъ. Стихи 1903—1905 гг. Ц. 2 р.

Валерій Брюсовъ. Пути и перепутья. Т. I. Стихи 1892—1901 гг. (Chefs d'OEuvre. Me eum esse. Tertia Vigilia). М. 1907 г. Ц. 2 р. (1 р. 70 к.).

Валерій Брюсовъ. Пути и перепутья. Т. II. Печатается.

Ив. Буниnъ. Листопадъ. Стихотворенія. М. 1905 г. Ц. 1 р.

Андрей Бѣлый. Золото въ лазури. Первый сборникъ стиховъ. Обложка Н. Ѳеофилактова. М. 1904 г. Ц. 2 р. (1 р.).

Андрей Бѣлый. Закатные прахи. Второй сборникъ стиховъ. Печатается.

Поль Верлэнъ. Собраніе стиховъ. Переводъ Валерія Брюсова. Печатается.

Эмиль Верхарнъ. Стихи о современности. Переводъ Валерія Брюсова. Съ портретомъ Верхарна, работы Т. ванъ-Риссельберга. Ц. 1 р. 30 к. (1 р. 10 к).

З. Н. Гиппіусъ. Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

Вячеславъ Ивановъ. Прозрачность. Вторая книга лирики. Обложка Н. Ѳеофилактова. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

Вячеславъ Ивановъ. Cor Ardens. Iris in Iris. Эросъ. Обложка К. Сомова. Печатается.

Ив. Коневской. Стихи и проза. Посмертное собраніе сочиненій съ портретомъ автора и предисловіемъ Валерія Брюсова. М. 1904 г. Ц. 2 р. (1 р.).

Д. С. Мережковскій. Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

Ѳедоръ Сологубъ. Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

Оскаръ Уайльдъ. Тюремная баллада. Переводъ К. Бальмонта. Обложка М. Дурнова. М. 1904 г. Ц. 50 к. (35 к.).

II. РОМАНЫ И РАЗСКАЗЫ.

Валерій Брюсовъ. Земная Ось. Разсказы и драматическія сцены. М. 1907 г. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.).

Валерій Брюсовъ. Огненный Ангелъ. Повѣсть изъ нѣмецкой жизни XVI в. 2 части. Печатается.

Андрей Бѣлый. Сѣверная симфонія. (1-я, героическая). Въ 4 частяхъ. Обложка по рисунку Обри Бердслея. М. 1904 г. Ц. 75 к. (38 к.).

Андрей Бѣлый. Кубокъ метелей. 4-ая симфонія. Выйдетъ въ началѣ 1908 г.

Кнутъ Гамсунъ. Сьеста. Очерки и разсказы. Переводъ съ норвежскаго С. А. Полякова. М. 1900 г. Ц. 1 р. (85 к.).

Жагадисъ. Облака. Поэма въ прозѣ. Обложка Н. Ѳеофилактова. М. 1905 г. Ц. 65 к. (33 к.).

М. Кузминъ. Крылья. Повѣсть въ 3 частяхъ. Изданіе второе. Обложка Н. Ѳеофилактова. М. 1907 г. Ц. 80 к. (68 к.).

Морисъ Метерлинкъ. Избіеніе младенцевъ. Разсказъ. М. 1904 г. Ц. 40 к. (20 к.).

Эдгаръ По. Собраніе сочиненій въ переводѣ К. Д. Бальмонта. Томъ II. Разсказы, статьи. М. 1905 г. Ц. 1 р. 30 к. (1 р. 10 к.).

Ст. Пшибышевскій. Собраніе сочиненій.

Томъ I. Homo Sapiens. Романъ въ 3 частяхъ. Пер. М. Семенова. Изд. второе. 1904 г. Обложка Н. Ѳеофилактова. Ц. 2 р. 40 к. (2 р.).

Томъ II. Pro domo mea. De profundis. У моря. День Вознесенія. Вигиліи. Аметисты. Сыны земли. Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго, и С. Полякова. 1905 г. Обложка Е. Надельмана. Ц. 2 р. 40 к. (2 р.).

Томъ III. Дѣти Сатаны. Романъ въ 4 частяхъ. Пер. Е. Троповскаго. Обложка Н. Ѳеофилактова. М. 1906 г. Ц. 1 р. 30 к. (1 р. 10 к.).

Томъ IV. Заупокойная месса. Въ часъ чуда. Городъ смерти. Поэмы въ прозѣ. Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго и др. Обложка Фидуса. М. 1906 г. Ц. 1 р. (85 к).

Томъ V. Статьи. Печатается.

Ст. Пшибышевскій. Сыны Земли. Романъ. Пер. Е. Троповскаго. М. 1905 г. Ц. 50 к. (25 к.).

Ѳедоръ Сологубъ. Жало смерти. Разсказы. М. 1905 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р.).

Ш. ДРАМЫ.

Габріель д'Аннунціо. Трагедіи. „Мертвый городъ", „Джіоконда", „Слава". Пер. съ итальянскаго Ю. Балтрушайтиса. М. 1900 г. Ц. 1 р. 25 к. (87 к.).

Кнутъ Гамсунъ. Драма жизни. Переводъ съ норвежскаго С. А. Полякова. Изданіе третье. М. 1907 г. Ц. 50 к. (40 к.).

Зигмунтъ Красинскій. Небожественная комедія. Пер. А. Курсинскаго. Изданіе второе. Съ портретомъ З. Красинскаго. Ц. 60 к. (45 к.).

Л. Зиновьева-Аннибалъ. Кольца. Драма въ 3-хъ дѣйств. Предисл. Вячеслава Иванова. Обложка Н. Ѳеофилактова. М. 1904 г. Ц. 1 р. 80 к. (1 р 53 к.).

Шарль-ванъ Лерберггъ. Панъ. Переводъ С. А. Полякова. Печатается.

Морисъ Мэтерлинкъ. Пеллеасъ и Мелизанда и стихи. Переводъ Валерія Брюсова. Съ 3-мя портретами М. Мэтерлинка и статьей о его жизни и творчествѣ. М. 1907 г. Ц. 1 р. (85 к.).

Ст. Пшибышевскій. Вѣчная сказка. Пер. Е. Троповскаго. Обложка Брунелески. М. 1907 г. Ц. 1 р. (85 к.).

Оскаръ Уайльдъ. Флорентинская трагедія. Единственный авторизованный переводъ (съ рукописи) М. Ликіардопуло и А. Курсинскаго. Съ 3 портретами О. Уайльда. Ц. 80 к. (68 к.).

Артуръ Шницлеръ. Зеленый попугай. Трилогія. „Парацельсъ". „Подруга". „Зеленый попугай". Пер. съ нѣмецкаго. М. 1900 г. Ц. 60 к. (30 к.).

IV. ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВЪ.

Валерій Брюсовъ. Лицейскіе стихи Пушкина. Къ критикѣ текста. М. 1907 г. Ц. 1 р. (85 к.).

Г. Ландсбергъ. Долой Гауптмана! Переводъ съ нѣмецкаго М. Семенова. М. 1902 г. Ц. 70 к. (83 к.).

Н. Лернеръ. Труды и дни А. С. Пушкина. Хронологическія данныя жизни Пушкина. М. 1903 г. Ц. 1 р. (50 к.).

Д. С. Мережковскій. Гоголь и чертъ. Изслѣдованіе. Обложка Н. Ѳеофилактова. М. 1906 г. Ц. 1 р. 80 к. (1 р. 53 к.).

Письма Пушкина и къ Пушкину. Новые матеріалы. Редакція и примѣчанія Валерія Брюсова. Приложены факсимиле рисунковъ и рукописей А. Пушкина. М. 1903 г. Ц. 1 р. 50 к. (75 к.).

Арт. Симонсъ. Обри Бердслей. Перев. М. Ликіардопуло. Авторизованное изданіе съ портретомъ О. Бердслея и воспроизведеніемъ его рисунковъ. Печатается.

V. АЛЬМАНАХИ.

Сѣверные цвѣты на 1901 г. Стихи, разсказы, статьи. Обложка К. Сомова. М. 1901 г. Ц. 1 р.

Сѣверные цвѣты на 1902 г. Стихи, разсказы, статьи. Обложка К. Сомова. М. 1902 г. Ц. 1 р.

Сѣверные цвѣты. Альманахъ за три года—1901, 1902, 1903 г. Большой томъ, свыше 600 стр. Стихи, разсказы, статьи: К. Бальмонта, Валерія Брюсова, З. Гиппіусъ, М. Лохвицкой, Д. Мережковскаго, Н. Минскаго, В. Розанова, К. Случевскаго, К. Фофанова, А. Чехова и др. Письма: А. С. Пушкина, Ѳ. Тютчева, И. С. Тургенева, А. Фета, Вл. Соловьева, Н. Некрасова и др. Виньетки и заставки К. Сомова, Л. Бакста, М. Волошина и др. Обложка В. Борисова-Мусатова. М. 1904 г. Ц. 3 р.

Сѣверные цвѣты Ассирійскіе. На 1904—5 гг. Роскошное изданіе. Содержаніе: „Три разсвѣта", драма К. Бальмонта, „Земля", сцены изъ будущихъ временъ Валерія Брюсова, „Танталъ". трагедія Вяч. Иванова. Стихи и разсказы С. Соловьева, Макса Волошина, Ѳ. Сологуба, Н. Минскаго, З. Гиппіусъ, М. Криницкаго, Ю. Череды, Л. Зиновьевой-Аннибалъ и др. Обложка и всѣ украшенія Н. Ѳеофилактова. М. 1905 г. Ц. 3 р. (2 р. 55 к.).

VI. ЖУРНАЛЫ.

Вѣсы за 1904, 1905, 1906 и 1907 гг. Каждый годъ 12 №№, свыше 1000 стр. текста, съ рисунками (черными или въ нѣсколько красокъ) на отдѣльныхъ листахъ, художественными обложками и оригинальными виньетками. Каждый годъ представляетъ собою обзоръ культурной жизни всей Европы и подробную библіографію книгъ, вышедшихъ за этотъ періодъ на европейскихъ языкахъ. При каждомъ годѣ данъ алфавитный указатель помѣщенныхъ произведеній и разобранныхъ книгъ. Цѣна комплекта: за 1904, 1905 и 1906 г. безъ пересылки по 6 р. (5 р.); за 1907 г., въ виду незначительнаго числа оставшихся экземпляровъ, 8 р. (7 р.) безъ пересылки. При покупкѣ полнаго

комплекта, за всѣ четыре года, цѣна 25 р. (20 р.) безъ пересылки. Пересылка за счетъ заказчика по дѣйствительной стоимости.

VII. МУЗЫКА.

М. Кузминъ. Александрійскія пѣсни. Слова и музыка Кузмина. Печатается.

VIII. РАСПРОДАННЫЯ ИЗДАНІЯ.

К. Бальмонтъ. Будемъ какъ солнце. Обложка Фидуса. М. 1903 г.
Валерій Брюсовъ. Tertia Vigilia. Стихи 1897—1900 г. М. 1901 г.
Валерій Брюсовъ. Urbi et Orbi. Стихи 1901—1903 г. М. 1903 г.
Андрей Бѣлый. Симфонія (2-я драматическая). М. 1902 г.
Кнутъ Гамсунъ. Панъ. М. 1901 г.
А. Добролюбовъ. Собраніе стиховъ. М. 1901 г.
Генрихъ Ибсенъ. Когда мы мертвые проснемся. (Изд. 1 и 2). М. 1901 г.
Лукрецій Каръ. О природѣ вещей. Пер. И. Рачинскій. М. 1904 г.
Д. Мережковскій. Любовь сильнѣе смерти. М. 1902 г.
А. Л. Миропольскій. Лѣствица. Поэма. М. 1902 г.
Сѣверные цвѣты на 1903 г. Обложка Л. Бакста. М. 1903 г.

Объ условіяхъ выписки книгъ см. на стр. 9 этого каталога.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗДАНІЯ.

Валерій Брюсовъ. Пути и перепутья. Собраніе стиховъ. Томъ I. Стихи 1892-1901 гг. (Предисловіе 1907 г. Юношескія стихотворенія. Это-я. Третья стража Библіографія). М. 1908. Ц. 2 р. (1 р. 70 к).

М. Кузминъ. Крылья. Повѣсть въ трехъ частяхъ. Обложка Н. Ѳеофилактова Изданіе второе. М. 1907. Ц. 80 к. (68 к).

Морисъ Мэтерлинкъ. Пеллеасъ и Мэлизанда и стихи въ переводѣ Валерія Брюсова. Со статьей о жизни и творчествѣ Мэтерлинка библіографіей и тремя портретами. М. 1907. Ц. 1 р. (85 к).

Оскаръ Уайльдъ. Флорентинская трагедія. Единственный авторизованный полный переводъ (съ рукописи) М. Ликіардопуло и А. Курсинскаго. Предисловіе Ст. Мэзона. Съ 3-мя портретами О. Уайльда. М. 1907. Ц. 80 к. (68 к).

Валерій Брюсовъ. Лицейскіе стихи Пушкина. Къ критикѣ текста. М. 1907. Ц. 1 р. (85 к.).

К. Д. Бальмонтъ. Жаръ-Птица. Свирѣль славянина. Обложка К. Сомова (хромолитографія въ 12 красокъ). М. 1907. Ц. 2 р. (1 р. 70 к.).

Шарль ванъ-Лерберге. Панъ. (Сатирическая комедія въ 3 д.). Они почуяли. (Драма въ 3 карт.). Приключенія принца Цинтіи и его слуги Сатурна. (Отрывки изъ неоконченнаго романа). Переводъ С. А. Полякова. (Печатается).

ИМѢЮТСЯ НА СКЛАДѢ

М. Кузминъ. Приключенія Эме Лебефа. Фронтисписъ и заставки К. Сомова. Ц. 1 р. (85 к.)

М. Кузминъ. Три пьесы. Заглавный листъ. К. Сомова. Ц. 50 к. (43 к.)

Ст. Пшибышевскій. Узы. Драма. Пер. Е. Троповскаго. Ц. 75 к. (60. к).

14 31 68 ж

Рисунокъ Н. Ѳеофилактова къ драмѣ Ш. ванъ Лерберга «Панъ».

Berkeley
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

B000990645